

Это книга, в которой я лично всегда нуждался,
но на появление которой не надеялся, считал, что все
это погребено навсегда под тяжестью нашей трагедии.
И я благодарен ее автору за то, что она нашла
и собрала все то, что мы сейчас прочли. За то,
что она отняла эту часть нашего прошлого у небытия.

НАУМ КОРЖАВИН

Наталья
Громова

Ноев ковчег писателей

CoRpus

Эвакуация 1941–1945

Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата

Наталья Громова

**Ноев ковчег писателей.
Эвакуация 1941–1945. Чистополь.
Елабуга. Ташкент. Алма-Ата**

«Corpus (ACT)»

2019

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

Громова Н. А.

Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1945. Чистополь. Елабуга.
Ташкент. Алма-Ата / Н. А. Громова — «Corpus (АСТ)», 2019

ISBN 978-5-17-106840-0

Второе издание книги Натальи Громовой посвящено малоисследованным страницам эвакуации во время Великой Отечественной войны – судьбам писателей и драмам их семей. Эвакуация открыла для многих литераторов дух глубинки, провинции, а в Ташкенте и Алма-Ате – особый мир Востока. Жизнь в Ноевом ковчеге, как называла эвакуацию Ахматова, навсегда оставила след на страницах их книг и записных книжек. В этой книге возникает множество писательских лиц – от знаменитых Цветаевой, Пастернака, Чуковского, Федина и Леонова и многих других до совсем забытых Якова Кейхауза или Ярополка Семенова. Книга основана на дневниковых записях, письмах, мемуарах и устных рассказах свидетелей тех лет. Читатель сможет увидеть бытовое, житейское, непарадное лицо войны.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-17-106840-0

© Громова Н. А., 2019
© Corpus (АСТ), 2019

Содержание

Предисловие	6
Москва. Начало войны	9
Бомбежки	12
Цветаева. Попытка отъезда	16
Москва-река Кама 8 августа	18
Чистополь. Елабуга. 6 июля – 18 августа	21
Рассказ Берты Горелик. Чистополь – Берсут	24
Елабуга. 18–24 августа	28
Рассказ Либединской о Нине Саконской	31
Чистополь Цветаевой 24–28 августа	32
Без меня Мур будет пристроен... 28–31 августа	37
31 августа	39
Разговор с Вадимом Сикорским	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Наталья Громова
Ноев ковчег писателей.
Эвакуация 1941–1945. Чистополь.
Елабуга. Ташкент. Алма-Ата

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко В книге использованы фотографии из архива автора.

Автор благодарит за предоставленные фотоматериалы наследников Г.Л. Козловской, музеи Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге и Марины Цветаевой в Елабуге

© Н. Громова, 2008, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство АСТ”, 2019 Издательство CORPUS ®

Предисловие

В этом издании объединены и дополнены два документальных повествования о писательской эвакуации: ташкентской и чистопольской. Книга “Все в чужое глядят окно...” была посвящена пребыванию писателей и их семей в Ташкенте и Алма-Ате, “Дальний Чистополь на Каме...” – о жизни в Чистополе и Елабуге.

Книги основывались на личных воспоминаниях и семейных архивах, что позволило поднять большой пласт частных сюжетов, вписанных в общую историю эвакуации и вызвавших большой интерес к этой теме. По книге о ташкентской эвакуации были сняты два документальных фильма.

История СССР полна самых невероятных мифов. И, конечно же, огромная доля в их создании принадлежит советским писателям, художникам и поэтам. Но за официозом газетных страниц, за лакировкой прошлого всегда можно различить подспудную, тайную жизнь, запечатленную в дневниках, письмах, устных преданиях и рассказах.

История жизни отдельного человека когда-то сложится воедино из разрозненных сюжетов, позволит увидеть неофициальное, живое лицо нашей общей истории.

Советские литераторы, режиссеры – во многом осколки прежней русской интеллигенции, оставшейся в живых после катастрофы 1930-х годов, – с началом войны испытали множество противоречивых чувств. Тут было и облегчение, и страх, и даже чувство раскаяния за вольное или невольное соучастие в государственном терроре. Кто погиб в ополчении, кто приобрел авторитет и известность, проходя тяготы войны, те же, кто оказался в эвакуации, почувствовали вдали от власти раскрепощение, вернулись к своей подлинной писательской работе.

Эвакуация была так же трагична, как и война; вывозили детей, больных, стариков; люди голодали, умирали вдали от дома. В городах и поселках, куда их привозили, было тяжело. Местные жители, лишенные средств, сами годами жившие впроголодь, теснившиеся большими семьями в уплотненных квартирах или домах, по разнарядке обязаны были подселать огромный поток беженцев в свои дома, а порой и освобождать приезжим комнаты, ютись в углах. И все-таки как могли – помогали, кормили, селили.

Шла эвакуация детских домов, детсадов, школьников собирали в школах вместе с учителями и вывозили из города. В сентябре писательских детей из местечка Берсут на Каме перевезли в интернат Чистополя.

Чистополь, или Чистое поле, был назван в память о сожженном поселении, основанном в XVIII веке беглыми крестьянами. Солдаты по царскому указу пришли сюда и выжгли дома и постройки, сделанные руками тех, кто бежал в поисках свободы. И стало на том месте – Чистое поле. Часть слова “поль” (как в словах “Петрополь”, “Акрополь”) напоминает не об античном происхождении города, а о горькой драме, разыгравшейся на его месте. Спустя два века город вновь принял бегущих от войны и бомбежек писателей и их детей.

Чистополь – маленький провинциальный городишко, стоящий на Каме. Ряд ровных, под прямым углом расчерченных улиц с двухэтажными домиками. Как и все окрестные городки, Чистополь летом – пыльный и сухой, осенью – непролазный из-за размытых дорог, зимой – иногда до самых крыш в сугробах.

В военное лето 1941 года для одних писателей он стал перевалочным пунктом – они устраивали свои семьи и уходили на фронт, для других – почти на два года домом, для третьих – местом упокоения. Эвакуация осталась в памяти писателей очень разной.

Часто было так, что советские литераторы оказывались на войне и в эвакуации лицом к лицу со страной, которую не знали, или стали забывать, какая она на самом деле... Многие испытали шок, кто-то изменился, кто-то стал писать после войны совсем по-другому.

Цветаева, несмотря на краткий отрезок жизни в эвакуации, оставила след в памяти многих литераторов. О ней говорили, ей сострадали, сообщали в письмах о ее гибели. Некоторые литераторы прочитали ее трагедию как вызов и своей заброшенности, отсутствие опеки государства. Цветаева никогда не надеялась на подобную заботу. Многие из тех, кто оказался в Чистополе в июле-августе – а это были в основном женщины с детьми, – встретили Марину Цветаеву с сыном на пароходе или услышали о ее гибели в сентябре, когда новость долетела из Елабуги. Попутчики Цветаевой сошли в Чистополе, но так как он был переполнен, московский Литфонд рекомендовал беженцам отправляться дальше – в Елабугу. И они отправились..

Пастернак, о котором много будет рассказано в этом повествовании, оказался в Чистополе в середине октября, когда Цветаевой уже не было в живых. Это стало роковым *размино-вением* двух близких людей и поэтов, также она *разминулась* в Чистополе с Тарковским и Ахматовой, приехавшими сюда в октябре.

В отличие от большинства писателей, драматично переживавших события войны и свой исход из Москвы, Пастернак отнесся к войне и эвакуации как к новому духовному опыту. Даже в самые ужасные годы в его голосе звучала предельная откровенность и искренность. Пастернак о Чистополе говорил с нежностью как о “городке детского и писательского поселения, который благодаря этому казался посвященным детству и сосредоточенью”.

Со вторым, более мощным потоком эвакуированных писателей, принятых в октябре, когда Москва готовилась к сдаче, в Чистополе помимо Б. Пастернака, окажутся А. Фадеев, А. Арбузов, Вс. Багрицкий, В. Билль-Белоцерковский, Г. Винокур, С. Галкин, С. Гехт, А. Гладков, М. Зенкевич, Л. Леонов, В. Парнах, Д. Петровский, М. Петровых, А. Тарковский, К. Федин и многие другие... Кто-то устроит семью и уйдет на фронт, а кто-то проживет в Чистополе вплоть до лета 1943 года.

Поток эвакуированных шел в Куйбышев (Самару), Киров, Казань, Чистополь, Свердловск, Пермь (Молотов) и Ташкент. Правительственных и партийных чиновников расселяли в Куйбышеве, где уже все было готово для приема и самого вождя. В Куйбышев был отправлен МХАТ – ведущий государственный театр. В Кирове оказались московские и ленинградские драматические и оперные театры. Восток, Азия казались более безопасными. Однако чем напряженнее складывалась обстановка на фронте, тем острее ощущалось, как ослабевали нити, связывающие Среднюю Азию и Россию.

Стали слышны разговоры о том, что дальнейшее поражение на фронтах может привести к превращению Узбекистана в англо-американскую колонию. И что тогда? Как узбеки отнесутся к лавине беженцев из России? Настроение было мрачным.

В Ташкент тоже было эвакуировано множество известных людей; их горести, переживания, большие и маленькие трагедии становились достоянием всей колонии, напоминавшей огромную коммунальную квартиру. Жизнь на виду, порой скверная, а порой очень теплая и человеческая, пронесла – как на карусели трехлетнего совместного бытования – людей благородных и трусливых, честных и мошенников. Война и эвакуация сдвинули с места многие судьбы, обнажили в людях скрытую природу. Рушились на глазах ложные репутации, возникали – подлинные. Потеря близких, любовь и измены, болезни, смерти, самоубийства, гибель на фронте – все эти реальные события во многом освободили людей от тяжелой лжи, в которой пребывала страна в конце 1930-х годов.

В далеком восточном городе, за тысячи километров от Москвы, в самом начале войны многие испытали непривычное для советских людей чувство отчужденности от страны, которая все прежнее время жестко держала их в повиновении.

Государственная машина, приводящая в движение множество деталей огромного механизма, на большой скорости вдруг стала буксовать, останавливаться, тормозить и наконец остановилась совсем. Люди оказались предоставлены сами себе. Они должны были самостоятельно

не только организовывать свою жизнь, искать кусок хлеба, но и ориентироваться в происходящем. Это давало им и чувство страха, и острое чувство свободы. Одними из первых трагическую новизну почувствовали писатели. В эвакуации они стали жить очень плотным сообществом, получали письма с фронта и из Москвы, вместе обсуждали последние известия...

Ташкент принял большое количество писателей, ученых, актеров с их семьями, разместили их в частных домах и в официальных зданиях – на улице Карла Маркса, где стояло здание Совнаркома, на Пушкинской улице, где часть ученых, писателей и актеров поселили в четырехэтажном здании управления ГУЛАГа, на Первомайской улице, расположенной по соседству, где был Союз писателей Узбекистана, и на улице Жуковской.

Здесь жили А. Толстой и К. Чуковский, его дочь Л. Чуковская, А. Ахматова, драматург И. Шток, Ф. Раневская, Н. Мандельштам, семья Луговского (поэт, его мать и сестра), Е. Булгакова, писатель В. Лидин, поэт С. Городецкий с семьей, литературоведы М. и Т. Цявловские, Д. Благой, Л. Бродский, В. Жирмунский, драматург Н. Погодин, писатели Н. Вирта, И. Лежнев, критик К. Зелинский, М. Белкина и многие другие.

Ташкент, его улицы, дома, дворы, деревья, комнаты, уголки, лестницы – это тот “сор”, из которого сложилось художественное пространство: стихи, строфы эпилога “Поэмы без героя” Ахматовой, книга исповедальных поэм “Середина века” Луговского, другие мемуарные и документальные тексты.

Жизнь эвакуации сохранилась в дневниках, в записных книжках, в поэтических строфах дневникового характера. Каждый фрагмент писем, записок, стихов раскрывает причудливую картину жизни города, его случайных обитателей, занесенных сюда ветром войны.

Большим подспорьем в создании этой книги стал сборник “Чистопольские страницы”, где история чистопольской эвакуации была представлена в документах и частично в произведениях писателей, а также богатый материал из семейных архивов Луговского (ныне архив В. Седова), Л. Голубкиной (Луговской), М. Белкиной (Тарасенковой), Л. Либединской, А. Коваленковой (Алигер).

В этой работе приводится много новых документов периода войны из архивов РГАЛИ и семейных архивов, а также устных рассказов участников событий.

Москва. Начало войны

22 июня 1941 года для большинства людей Советского Союза кончилось привычное течение времени. Жизнь пошла рывками: от одной сводки информбюро до другой, от одного объявления воздушной тревоги до другого, от ожидания фронтового треугольника до получения похоронки...

Большинство современников рассказывают, что в день начала войны не было страха, ужаса, отчаяния – напротив, многие ощутили подъем и облегчение от того, что война, о которой столько времени говорили, настала и наконец все разрешится. Правда, этот порыв испытывала по большей части молодежь – старшее поколение молчало.

Многие поэты и писатели с 23 июня были прикомандированы к фронтовым газетам и незамедлительно туда отправились.

На митинг, собравшийся в Союзе писателей, народу пришло немного. Вел его Александр Фадеев. Вспоминают, что зал был полупустой, заполненный малознакомыми людьми. Выступающие говорили напряженно. Неловкость была связана с тем, что несколько лет говорили о дружбе с Германией. Выступил какой-то старый писатель. “Мы будем его бить, бить, как карточного шулера, затесавшегося в благородное общество, – витийствует старик. – Мы будем его бить канделябрами... Фадеев смущен”¹, – писал литературный критик Борис Рунин.

Вышел Михаил Левилов, автор книги о Свифте. Он рассказал о том, чем грозит фашизм культуре. Его речь резко отличалась от казенных речей предыдущих ораторов. Она была живой и умной. В ту же ночь его арестовали. Ему предъявили обвинение в шпионаже “в пользу Великобритании, неопровержимо доказанном посещением гробницы Свифта в соборе Святого ЕЕатрика в Дублине”, за что он был приговорен к расстрелу.

В зале сидели его ученики по Литинституту (он вел семинар прозы и художественного перевода) Даниил Данин, Маргарита Алигер, Мария Белкина, Михаил Матусовский. Они вместе учились и дружили. В той же компании были Евгений Долматовский, Константин Симонов, Наталья Соколова и многие другие. Это поколение оказалось в центре войны. Мария Белкина описала начало войны и эвакуации в книге о Марине Цветаевой “Скращение судеб”, к которой мы будем обращаться, прибегнем и к ее устным рассказам.

Неожиданно оказалось, что в книге Бориса Рунина и рассказе Марии Белкиной есть пересекающиеся сюжеты. Когда митинг в Союзе писателей закончился, каждый из них, повинаясь какому-то внутреннему импульсу, отправился к немецкому посольству в Леонтьевском переулке. Это был красивый двухэтажный особняк. Белкина увидела, что перед ним стоит автомобиль с включенным мотором, а в окне посольства мечется какая-то фигура и жжет бумаги. Напротив дома стояли люди. Они приходили сюда сами, неорганизованно. Маленького роста, похожий на мальчика милиционер, охранявший посольство, бегал перед собравшимися и жалобно повторял: “Граждане, не нарушайте! Граждане, не нарушайте!” А старушка сказала: “Какой маленький, к земле пригнется, и пуля его не заметит”. Белкину поразило, что никто не кричал, не ругался. Все стояли молча и смотрели.

Туда же пошли и ее товарищи по институту:

... Вместе с Алигер и Матусовским – пошли в Леонтьевский переулок к зданию германского посольства, – писал Борис Рунин. – Не помню уже, что нас побудило туда отправиться, но один эпизод, относящийся к этому походу, запечатлелся в моей памяти.

¹ Рунин Б. *Мое окружение: Записки случайно уцелевшего*. М., 1995. С. 95.

К зданию посольства подъезжает “эмка”, и сотрудники госбезопасности насильно высаживают из нее молодую женщину, стараясь сунуть ей в руку маленький чемоданчик. Женщина же упирается и всячески норовит от чемоданчика избавиться – мол, он к ней не имеет отношения. Кончается эта немая и таинственная сцена тем, что и женщину, и чемоданчик все-таки вталкивают в дом².

Каждый увидел что-то свое. Что это означало, так и осталось непонятным.

В период больших бедствий люди, как рыбы в океане или птицы в огромной стае, начинают подчиняться неким общим знакам, которые пытаются распознать. Сначала за них они принимают голос власти, но чем дольше длится бедствие, тем очевиднее, что речь идет о каком-то общем внутреннем голосе народа.

Город начал меняться с первого дня войны. В тот же день вечером, вспоминала Белкина:

...мы с Тарасенковым поехали к его матери, она жила на 3-й Тверской-Ямской. Мы ехали в неосвещенном трамвае, кондукторша все время сморкалась и принимала деньги на ощупь и отрывала билеты на ощупь. И все почему-то говорили вполголоса... И темный трамвай несея по темным улицам, непрерывно звеня, давая знать о себе пешеходам. И не светилося ни одно окно, и не горел ни один фонарь. Знакомые улицы не узнавались, и казалось, что это был не город, а макет города, мертвый макет, с пустыми, ненаселенными домами, и синие лампочки, уже ввинченные дворниками в номерные знаки на домах, еще больше подчеркивали пустынную и нереальность города и нас самих. И только назойливые трамвайные звонки, и гудки автомобилей, и резкие сигналы санитарных эвакомашин напоминали о том, что это не макет, не сцена, не спектакль, что это жизнь! Иная, совсем иная жизнь, к которой надо приспособляться и привыкать³.

6 июля 1941 года отбыл из Москвы первый эшелон Союза писателей в Казань, Берсут и Чистополь. Пионерлагерь и детсад Литфонда увезли из Подмосковья, многих родителей не успели предупредить, и те не знали, что их дети отправлены на Каму. Шла эвакуация детских домов, детсадов, школьников собирали в школах вместе с учителями и вывозили из города. В сентябре писательских детей из местечка Берсут на Каме перевезли в интернат Чистополя.

С первой партией писательских детей (тех, что не были в лагере), эвакуированных в начале июля, выехала Тамара Иванова, жена Всеволода Иванова. Она несколько дней провела в Моссовете, чтобы выбить два вагона, которые тут же пошли в Казань. Все решалось, как всегда, на личных договоренностях.

Тамару Иванову, жену Всеволода Иванова, звали “женщина-танк”. Эта рослая громкоголосая красавица, презирующая хлюпиков, рохлей, людей, не умеющих отстаивать свои требования, была невероятно деловой и невероятно пробивной.

Если она на чем-нибудь настаивала, отказать ей было просто невозможно. Она сокрушала учреждения и людей, как самый настоящий танк⁴.

Несмотря на то, что матерям разрешалось сопровождать детей только до трех лет, она в последнюю минуту впрыгнула в отходящий поезд и уехала вместе с ними. Многие дети из-за запрета оказывались под присмотром других матерей, а у тех были собственные дети. Старшие

² Белкина М. *Скращение судеб*. М., 2005. С. 96–97. (Далее: Белкина.)

³ Белкина. С. 412.

⁴ Соколова Н. *Два года в Чистополе. 1941–1943*. М., 2006. С. 17. (Далее: Соколова.)

девочки и мальчики как умели опекали младших. Зинаида Пастернак, жена Бориса Пастернака, выехала с маленьким Леней и Стасиком в составе первых двухсот человек, оставив старшего больного Адика в туберкулезном санатории.

Из Москвы и Ленинграда эвакуированных направляли в основном в восточные районы страны. Большинство писателей было эвакуировано в Казань, где собирались организовать выездной Союз писателей, но так как эвакуировались семьи, то колония постепенно перебралась в Чистополь, где был интернат для детей писателей, а тем, кому не хватало места, – преимущественно в Елабугу, Набережные Челны и далее вниз по Каме.

Дети все прибывали, а персонала не было.

11 июля уходило на фронт московское ополчение, ушла и “писательская рота”. На фронт забрали тех, кого не мобилизовали в первые дни – белобилетников, освобожденных от воинской повинности по возрасту или состоянию здоровья. Шел Даниил Данин, который не мог обойтись без очков, маленький Рувим Фраерман, уже пожилой редактор “Огонька” Ефим Зозуля и многие другие – в очках с толстыми стеклами, туберкулезные, немолодые. Целое подразделение составляли писатели.

Уходили – в прямом значении этого слова: в пешем строю, по Волоколамскому шоссе, на запад, – писал Борис Рунин. – <...> Нас было примерно девяносто человек – прозаиков, поэтов, драматургов, критиков, вступивших в ополчение через оборонную комиссию Союза писателей. В одном строю шагали и уже маститые, такие как Юрий Либединский, Степан Злобин, Бела Иллеш, Рувим Фраерман, Павел Бляхин, и мало кому известные в ту пору писатели, как Александр Бек или Эммануил Казакевич⁵.

Мария Белкина, угнетенная зрелищем шествия немолодых, нездоровых ополченцев-писателей (она говорила, что там были полуслепые, больные, пожилые), влетела в Союз писателей и сказала секретарю парткома Хвалебновой, которая участвовала в формировании писательской роты, что те вряд ли выживут и что они могли бы как-нибудь по-другому выполнить долг перед родиной. Но та жестко ответила, что на фронт они пошли добровольно, и пригрозила, чтобы она следила за тем, что говорит. Мария Иосифовна была на последнем месяце беременности, и, возможно, поэтому ее не отправили куда следует.

По предположению Бориса Бунина, одного из участников писательской роты, мобилизация таких ополченцев была еще и чисткой писательских рядов, избавлением от старой интеллигенции. Что и произошло. В живых осталась только половина из ушедших тогда писателей.

⁵ Рунин Б. *Мое окружение: Записки случайно уцелевшего*. М., 1995. С. 18.

Бомбежки

Никто не ожидал, что уже через месяц немцы начнут бомбить Москву. Первые бомбежки начались в ночь с 21 на 22 июля и продолжались до осени 1942 года почти каждый день. Дом писателей в Лаврушинском переулке был своего рода “младшим братом” Дома на набережной – оба стояли на берегу Москвы-реки, переглядываясь с Кремлем. Правда, писательский дом был задвинут в переулок Замоскворечья ближе к Третьяковской галерее. Большинство писателей были соседями по дому – здесь жили в разное время: К. Паустовский, М. Пришвин, Вс. Иванов, Б. Пастернак, В. Шкловский, И. Ильф, Е. Петров, Д. Благой, М. Голодный, А. Барто, И. Уткин, С. Кирсанов, Н. Погодин, Ю. Олеша, И. Сельвинский, В. Луговской и другие. Отсюда они выехали – кто в эвакуацию, кто на фронт.

Теперь Москву бомбили каждый день, два раза в день, с чисто немецкой пунктуальностью, кажется, в двенадцать и в восемь вечера, точно уже не припомню. Все ждали этого часа, нервничали, поглядывая на часы, посматривая на “черную тарелку”, которая неумолимо объявляла: “Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!” А затем следовал утробный вой сирены. В Москве складывался особый военный быт: магазины закрывались рано, метро переставало работать в шесть-семь часов вечера, и станции и тоннели превращались в бомбоубежища. Но еще загодя тянулись к метро вереницы людей, и у входа выстраивались длинные очереди. Дети с самодельными рюкзаками за спиной, в которых лежала одежда – ведь можно было вернуться домой и не застать своего дома; матери тащили большие мешки и сумки с подушками, с одеялами, чтобы удобнее устроить на ночь детей на шпалах между рельсами. Плелись старики, кого-то катили в инвалидной коляске, даже на носилках несли. Кто-то тащил чемоданы, кто-то связки книг, мужичонка шагал с тулупом и валенками подмышкой; тулуп на шпалы, валенки под голову, с удобством устроится и на зиму сбережет⁶.

В июле 1941-го в Москве создавались группы самообороны жилых домов, учреждений и предприятий. Одна такая группа создавалась на двести – пятьсот человек населения. Если дом был большой, то такую группу должен был организовать каждый подъезд.

С 23 июля начались дежурства на крышах в писательском доме. Борис Пастернак после первого ночного дежурства 24 июля 1941 года признавался жене, уехавшей с детьми в Чистополь:

Третью ночь бомбят Москву. Первую я был в Переделкине, так же, как и последнюю, 23 на 24-е, а вчера <...> был в Москве на крыше <Лаврушинского, 17> вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране... Сколько раз в течение прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы, зажигательные снаряды, как по мановенью волшебного жезла, в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой⁷.

Эту же бомбежку описал Всеволод Иванов из окон своей квартиры:

⁶ Белкина. С. 421–422.

⁷ Пастернак Б. *Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак*. М., 1993. С. 158. (Далее: Пастернак Б. *Письма к З.Н. Пастернак*.)

И вот я видел это впервые. Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты – осветили дом, как стол, рядом с электростанцией треснуло, – и поднялось пламя. Самолеты – серебряные, словно изнутри освещенные, – бежали в лучах прожектора, словно в раме стекла трещины. Показались пожарища – сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад недалеко от Дома Правительства (Дома на набережной. – Н. Г.) – и в 1 час приблизительно послышался треск. <...> Зарево на западе разгоралось. Ощущение было странное. Страшно не было, ибо умереть я не возражаю, но мучительное любопытство – смерти? – влекло меня на крышу. Я не мог сидеть на 9-м этаже, на лестнице возле крыши, где В. Шкловский, от нервности зевая, сидел, держа у ног собаку, в сапогах и с лопатой в руке. Падали ракеты⁸.

Сам же Шкловский тоже оставил воспоминание о тех днях:

Мы встретились на чердаке. Встретились Всеволод Иванов, и Бехер, и Уткин, и Голодный, и Борис Пастернак со спокойными глазами и каменными щеками, и много других людей. <...> Сидел я на чердаке; мне очень хотелось спать; я солдат, у меня такая привычка – при бомбежке, если я не занят, спать. У ног спала очень любящая меня маленькая белая собачка с очень плохим характером – Амка. Звонко откупориваясь, стреляли зенитки. Всеволод сказал мне:

– А вот сейчас вступим и мы в бой со своими деревянными лопатами.

Он был спокоен, круглолиц, печален.

Однажды бомба прошла через наш дом.

Небольшая.

Она пробила несколько бетонных перекрытий, подняла один потолок взрывом, но не доверху, потому что помешал шкаф. Это было в квартире Паустовского.

Когда днем Паустовский вошел в квартиру, комната была залита солнцем и полна обломками. На разбитой клетке сидела очень желтая канарейка и пела.

Пропевши песню, она упала и умерла: она переоценила свои силы.

Солнце ей дало иллюзию, что все хорошее продолжается, что больше безумного не будет.

В это время мы стали встречаться снова, и я заходил к Всеволоду, и брал у него книги, и слушал радио с плохими вестями⁹.

Паустовский переехал из разбомбленной квартиры на дачу к Федину в Переделкино, затем уехал в Чистополь, а потом в Алма-Ату.

В одну из ночей, – писал Пастернак в письме к своей двоюродной сестре, – как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 11-этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали, и опьяняли¹⁰.

В начале августа был разрушен дом писателей в Лаврушинском переулке. Об этом подробно написано в воспоминаниях А. Эрлиха:

⁸ Иванов Вс. *Дневники*. М., 2002. С. 84–85.

⁹ Шкловский В. *Жили-были*. М., 1966. С. 432.

¹⁰ Пастернак Б. *Собр. соч. Т. 5. Письма*. С. 405.

Ноющий, подобно осиному гуду, стон моторов, рыскающих в недостижимой для глаз и для зенитного огня высоте, нестерпимый свист и вой тяжелых фугасок, каждая из которых, казалось, летела прямо на наши головы, удары и взрывы, так ощутимо сотрясавшие воздух, измучили нас. Двое были ушиблены воздушной волной. Один потерял от слишком длительного нервного напряжения власть над собой – зубы его неудержимо и дробно стучали, он сел возле большой бочки с заготовленной водой и, уткнувшись в нее лицом, стонал сквозь крепко сомкнутый рот. Все остальные “пожарники”-писатели оставались на своих постах. Но многие были уже так измучены, что вряд ли годились в дело. Необходимо было свежее подкрепление. Петров спустился в бомбоубежище подобрать там в помощь человек семь-восемь. Вскоре он вернулся с подкреплением. Но, как это часто бывает во время налетов, вдруг наступила глубокая тишина. Молчали зенитки, не слышно было больше ни гула, ни свиста, ни разрывов. Мы снова видели над собой мирные, спокойно помигивающие звезды. Может быть, с минуты на минуту по радио объявят долгожданный отбой? <...> По-прежнему было тихо над ночной Москвой. Я отправился на девятый этаж, где всегда в часы налета были открыты обе квартиры, расположенные друг против друга на площадке. Длинные пожарные шланги были привинчены к водопроводным кранам в этих квартирах. Надо было проверить, в порядке ли трубы, не откажет ли водоснабжение в случае необходимости.

В одной квартире жил знаменитый немецкий писатель-антифашист Эрих Вайнерт. Еще издали, с площадки, я увидел его в глубине квартиры – он не спустился в тот вечер в бомбоубежище, – я спросил по-немецки, есть ли вода в системе? Вайнерт ответил, что есть. Другая квартира – К. Г. Паустовского – пустовала: сам писатель находился на Южном фронте корреспондентом от ТАСС, а семья была эвакуирована в Чистополь. <...>

Вскоре мы уже хорошо знали, какие беды наделали две фугаски, почти одновременно сброшенные над нами. Одна угодила в самый дом и, пробив по пути два железобетонных перекрытия, разорвалась на пятом этаже... Изуродованная, дымилась щебнем и пылью квартира Паустовского. Такие же разрушения видели мы и в квартирах ниже по этажам, от девятого до пятого включительно. В одной из них разрывом полутонной бомбы снесена была капитальная стена, за зубчатыми остатками которой открылась смежная, из соседнего подъезда, квартира писателя Л. Никулина.

Вторая бомба разорвалась во дворе, причинив еще больше бед: осколками ее были убиты наповал трое и тяжело ранены четверо дежурных из соседнего дома.

Весь двор был засыпан мельчайшими осколками стекол, вылетевших из всех прилегающих окон.

Над городом снова ныли в незримой высоте реюющие самолеты, и опять падали с возрастающими, душу ледящими свистом и гулом тяжелые бомбы. Началась новая волна налета¹¹.

В неопубликованной поэме Луговского “Москва. Бомбардировочные ночи” – картина тех дней.

¹¹ Эрлих. А. *Нас учила жизнь: Литературные воспоминания*. М., 1960. С. 179–182.

На крышу вызывают командира
Посреди летающих ракет,
Трассирующих пуль и пулеметов
Стоят, раздвинув ночь, прожектора,
Какой простор, какие песни неба!
То вспыхивает, то замрет Москва.
И зажигалки малые, расплавясь,
Текут, белея, по железным крышам.
Кругом меня стоит веселый ад,
Тот фейерверк блистающей природы,
Та вспышка непонятных, мертвых сил.
Пронзающие ночь, бегут ракеты.
Коричневое облако разрыва
Подкидывает ночь. И язычки
Паршивые снуют по сизым крышам.
Отсюда видно все. Лежит Москва,
Безмолвная, зенитками одета,
Колышутся и потухают зданья,
Неведомые отсветы играют
На затемненных крышах в чехарду.

В первые же дни войны НКВД принимает решение – маскировать здание Кремля. Один из вариантов предполагал “имитирующую окраску кремлевских зданий, уничтожение блеска позолоченных глав кремлевских соборов, снятие крестов и имитация окраской и присыпкой на площади вокруг Кремля городских кварталов”¹².

Немцы, когда бомбили Москву, пытались попасть в Кремль, поэтому много разрушений было именно в центре города. Возле Никитских ворот от удара бомбы образовалась огромная воронка, а памятнику Тимирязеву оторвало голову; нашли ее только через несколько дней на крыше возле Арбатской площади. Был разбит дом на Воровского, образующий угол с Мерзляковским переулком, где тогда находилась аптека. Считалось по теории вероятности, что дважды в одно и то же место снаряд попасть не может, однако через несколько дней в остатки аптеки снова попала бомба. Был разрушен Вахтанговский театр, а дежуривший ночью артист Куза был убит... В разбомбленных домах обнажились квартиры, стали видны кровати, диваны, картины на стенах.

Пока еще была надежда, что война протянется недолго, многие писатели, спасаясь от бомбежек, жили в Переделкино.

¹² Лубянка в дни битвы за Москву: По рассекреченным документам ФСБ РФ. М., 2002. С. 32.

Цветаева. Попытка отъезда

У многих людей дома почти целиком разрушены, – пишет в дневнике Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой. – 9 часов вечера 28 июля 1941 года. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я по крайней мере немного посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве. Мать дрейфит из-за меня на крыше¹³.

Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, но понимала, что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили пожилая поэтесса Вера Меркурьева, еще какие-то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей кошке, вспоминали о кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с отвращением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запахи старости и кошек для него смешиваются воедино. Он хочет вырваться к молодым, ясным, здоровым людям. Мать для него воплощает то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали страшные времена, когда о животных думать было неприлично. Многим было невыносимо смотреть им в глаза и понимать, что их придется бросить или уморить голодом. Для Мура все эти мысли из области распада и разложения.

Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуированным, которые выезжали 25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди маленьких детей единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили, поехали только инвалиды и матери с маленькими детьми.

Теперь Цветаева каждый день ходила в Литфонд, чтобы получить возможность как-то покинуть город. Создавались все новые и новые группы эвакуированных, женщины с детьми рвались подальше от Москвы.

26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:

Попомню я русскую интеллигенцию <...>! Более неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих людей нигде и никогда не видал. Литфонд – сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым. Все это дает ощущение бреда. Каковы же все-таки последние новости нашего несчастного отъезда? Как будто опять начинает сколачиваться группа писателей, для которой сейчас ищут место эвакуации – не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом роде намечается – для тех, кто не уехал в Чистополь. Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут место и сговорятся с местными властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли нам попасть в эту группу или нет¹⁴.

¹³ Эфрон Г. *Дневники. В 2-х тт. Т. 1.* М., 2004. С. 478.

¹⁴ Эфрон Г. Т. 1. С. 475.

Счет к интеллигенции – по его мнению, это мечущиеся советские писатели – он будет предъявлять и в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур пройдет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания интеллигенции, которая была в крови отца, матери, старшей сестры, всю свою небольшую жизнь внутренне оспаривает аргументы родителей. Он видит в писательском круге ту же обывательскую среду, которая так раздражала родителей во французской буржуазной публике. Наверняка он не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть этим мать.

В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боялся бомбежек и кто их не боялся.

Лидия Либединская тоже ездила на дачу во Внуково с полугодовой девочкой. Она рассказывала, что вскоре они с мамой и бабушкой перестали спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи, и Лидия с ребенком должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее судьбу; она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.

Москва-река Кама 8 августа

8 августа Борис Пастернак вместе с Виктором Боковым (он отправлял вещи для своей семьи) провожали пароход, отправляющийся с Речного вокзала, на котором была Цветаева с Муром. По слухам, этот пароход был организован стараниями той же Тамары Ивановой через Литфонд для родственников Всеволода Иванова, его сестры и тещи.

Лидия Либединская рассказывала, что она тоже была на пристани и провожала Цветаеву вместе с Львом Александровичем Бруни. Она вспоминала, что из знакомых там оказался и Илья Эренбург. Она настаивала, что Оренбург был точно. Сама ушла раньше, так как торопилась в госпиталь. А Лев Бруни сказал ей, что поедет домой на машине Оренбурга.

Цветаева уезжала из Москвы, преодолевая сопротивление Мура. При полной собственной растерянности, непонимании, как поступить, положение усугублялось раздражением сына, уставшего от смены решений, от ее неуверенности. Пароход “Александр Пирогов” был старый, шел медленно. “Мы спим сидя, темно, вонь, – пишет в дневниках Мур, – но не стоит заботиться о комфорте – комфорт не русский продукт”¹⁵. Но его утешало наличие сверстников. Тот факт, что он не один взрослый мальчик, который отправляется в эвакуацию с женщинами, инвалидами и малыми детьми, успокаивал его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын поэтессы-переводчицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский, сын детской писательницы Нины Саконской. Соколовский, хотя и окончил семь классов, был ровесником Мура. Тот писал о нем как о человеке культурном, разбирающемся в музыке. Вадим Сикорский был намного старше обоих мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учился в Литинституте, любил литературу, писал стихи. Мальчики подружились и время на пароходе проводили вместе.

Вместе они окажутся и в Елабуге. У каждого из подростков – трудные отношения с матерями, их силой вывозят из Москвы. Это же, видимо, объединило и трех матерей в Елабуге.

Берта Михайловна Горелик, жена писателя и журналиста Иосифа Горелика¹⁶, была хирургом, а потому военнообязанной. 8 августа она оказалась в числе тех, кто плыл на пароходе вместе с Мариной Цветаевой и ее сыном. Отправив маленького, четырехлетнего, сына в Берсут, через месяц решила забрать его в Москву.

Не знаю, как я вообще это пережила. Муж каждый день в Литфонд звонит, спрашивается, где они. Никто не отвечает, куда отвезли детей, говорили, разбомбили детский поезд, и когда я, наконец, узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в военкомат и попросила дать мне две недели, чтобы забрать ребенка. Мне говорят, что бомбят Москву, все увозят детей. Я хочу его забрать. Муж узнал, что пароход идет в Чистополь.

23 июня 1941 года ей необходимо было явиться в часть к 5 часам утра.

В пять часов мальчик еще спал, – рассказывала Берта Михайловна, – моя приятельница осталась у меня ночевать, я должна была все узнать, как меня мобилизуют, я была капитаном медицинской службы. Ни свет ни заря я примчалась туда, где моя часть. Это оказалась школа, вышел сторож:

¹⁵ Эфрон Г. Т. 1. С. 404.

¹⁶ Иосиф Горелик начал работать в “Известиях”, когда главным редактором был Бухарин, тогда же, как рассказывала Берта Михайловна, он познакомил ее со своей молодой женой. “– Барышня, – говорил он, – вы не знакомы с моей женой? Очаровательная женщина. Был остроумный, веселый. В то время входили в моду танго и фокстрот, он как-то пошутил: «Я думал, такое только ночью делают, оказывается, можно и днем». Когда пошли аресты, ее муж приходил с работы мрачный:– Ты знаешь, у нас каждый день на собрании все каются, а мне не в чем себя обвинить. Они жили на даче между Удельной и Отдыхом; там находился поселок «Известий». И каждый день забирали, из того домика, из того...” (Устные рассказы Б. Горелик. Архив автора.)

– Что, милая, пришла-то?

Я говорю:

– Вот моя часть...

– Да она уехала в три часа ночи.

– Как уехала?

– Да так, уехала.

Я говорю: как же мне быть? Ведь скажут, что я дезертировала. Меня обуял ужас. Я стала его просить подписать бумагу, что была здесь.

– Я сторож, что я могу подписывать? Идите в военкомат.

В пять утра ни живая ни мертвая пришла домой, была счастлива, что вернулась еще раз к ребенку. Он меня увидел и закричал:

– Мамочка, ты уже не едешь на фронт, тебя не убьют!

Моя приятельница принесла мне булку, тогда она называлась французской, и огурец – в повестке было написано взять с собой питание. Дома у меня ничего не было...

Иду в военкомат, он с девяти часов работает. Меня приняли абсолютно спокойно, понимали, что идет этот чертов бедлам. Они мне говорят: идите и работайте, когда понадобится, вызовем.

Была такая растерянность, люди не знали, что делать, бегали, магазины уже были пустые, все расхватали... Я все время боялась за ребенка, ведь бомбили каждый день. Ночью вставали и таскали его в убежище, а на каждого входившего мужчину он кричал: “Это Гитлер?”

И вот как-то пришел муж и сказал, что эвакуируют писательский детский сад. И предложил мне отправить его вместе с другими детьми. Я согласилась.

А когда отправляла, то буквально отдирала от себя, уже тогда поняла, что совершила чудовищную вещь. Пришла домой и сказала мужу: что же мы наделали!

Там ехали женщины с детьми, были мамы рядом, а мой – один. Он так кричал:

– Я буду ходить в бомбоубежище, мамочка, не отдавай меня!

Берта Горелик вспоминала:

12 дней мы не ехали, а стояли. Как бомбят, мы останавливались. Дамы поважнее сидели в каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сыном. Я ее увидела, кажется, дня через два. Подошла к ней жена Вилли Бределя – антифашиста, она мне ее представила. Говорили друг с другом по-немецки. Почему-то Бредельша ко мне сразу расположилась, стала рассказывать про свои болезни. Она представила мне Цветаеву. Та была бледная, серого цвета, волосы бесцветные с проседью уже. Она была с такой тоской в глазах... Вообще ее жизнь я узнала только тогда, когда мы приехали в Чистополь.

В 20-х числах августа они встретятся – жена Бределя, Берта Михайловна и Цветаева, когда она приедет хлопотать в Литфонд о возможности жить и работать в Чистополе.

Из рассказа видно, что Цветаева оказалась среди общего горя, которое уравнивало всех в беде. Но было одно существенное отличие: все умели включаться в советскую систему отношений, а она – нет.

Когда мы ехали, она узнала, что я врач, – вспоминала Берта Горелик об их коротком разговоре на пароходе. – “Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и полы мыть”. Я ей говорю: ваше дело – писать стихи. Я же ничего не знала о ней. Знала то, что, существует такая писательница,

что эмигрировала, но дальнейшая ее судьба мне была неизвестна. Она мне ответила: “Кому теперь нужны мои стихи?” Я ей сказала: “Вы знаете, я, конечно, с удовольствием вас возьму, но я же еду всего на две недели”.

Главные разговоры на пароходе: где жить и на что жить. Из разговоров становилось понятно, что у всех есть какая-то поддержка от родственников, деньги, которые везут с собой. Цветаева – в растерянности. Страх, что нельзя будет найти работу, овладевает ею все больше.

Мур рассуждает в дневнике о возможности устроиться:

В Казани есть поэтесса-переводчица М. Алигер, которая наверняка знает о замечательной репутации матери. (Может быть, наоборот, она не поможет нам устроиться в Казани, опасаясь сильной конкуренции в области переводов)¹⁷.

Судя по всему, место переводчицы ими подробно обсуждалось, и даже было отправлено письмо в Казань в Союз писателей Татарии.

В Горьком пересели на “Советскую Чувашию”. И пароход двинулся дальше.

И все-таки в те дни вряд ли кто-то обращал внимание на невысокую седую женщину. Она терялась среди огромного людского моря, которое волнами устремлялось в стороны от Москвы.

¹⁷ Эфрон Г. Т. 1. С. 492. Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с дневниковой записью Мура (она близко знала Ариадну Эфрон), писала о Цветаевой в воспоминаниях “Тропинка во ржи”: “Я запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Туда, я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе – знала я тогда об этом или нет? – Марину Ивановну Цветаеву с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий, – можно бы задержаться, сойти в Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеяться... Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя мы, может быть, и сами о том не знали, удержать, остановить, отвести от другого страшную минуту. И этим другим – от нас. А тут вот не удалось”.

Чистополь. Елабуга. 6 июля – 18 августа

Чистополь наполнялся эвакуированными с начала июля 1941 года. Приплывали по Каме.

Перед нами – крутой берег, – писала одна из эвакуированных. – Вверх идет дорога, по которой предстоит подняться в город – старинный, в прошлом – купеческий, с собором, лабазами, толстостенными жилищами, выбеленными до голубизны, крытым рынком, городским садом, мебельной и трикотажной фабриками, двухэтажными домами – в центре и одноэтажными, в три оконца, с палисадниками и крылечками, нарядными и попроще, приветливыми и угрюмыми – на всех остальных улицах, разбегавшихся вправо и влево от улицы Володарского¹⁸.

Уезжавшие в самом начале июля прибыли сначала в Казань. Там на первых беженцев смотрели с сочувствием и удивлением.

В Чистополь эвакуировали московский часовой завод, который стал производить военную продукцию. Население росло с фантастической быстротой. Люди питались в основном продуктами с рынка. Нашествие эвакуированных привело к тому, что цены взлетели во много раз, – это не могло не раздражать местных жителей.

Мы, приехав в июле-августе 41-го, – писала Наталья Соколова, – еще увидели докарточные пустоватые продуктовые магазины примерно в том виде, в каком они были до объявления войны (потом они превратились в распределители). Белый хлеб выпекали не каждый день, иногда неделями шел один черный, к этому в городе привыкли. Мяса в магазинах до войны почти не было, если было – одни кости. Дефицитов вообще в тридцатых хватало. Самым главным дефицитом являлся сахар, его не “выкидывали” на прилавки годами (да, да, не месяцами, а годами!). Детям был неизвестен вкус сахара, выручал мед. Здешние женщины позднее нам говорили: “Мы сахар увидели в войну, по карточкам. Пусть немного, но дают, великое дело”¹⁹.

Берта Горелик говорила, что некоторые писательские жены вообще потеряли чувство реальности. Многие просто не понимали, куда приехали, половина из них потом бежала в Ташкент. Но в первые месяцы эвакуации они скупали на рынке все, что можно. Из Москвы везли большие суммы денег, которые не снились местным жителям. Для некоторых не было предела, не останавливали никакие цены. Бочками скупали мед. Бывало так, что их даже избивали.

К началу августа детский лагерь в Берсоте был переполнен. Лидия Чуковская, оказавшаяся здесь в июле, уже не смогла пристроить туда детей; на это рассчитывала: там кормили. Она писала родителям в Москву: “Сейчас живем в общежитии, по 12 человек в комнате...”²⁰

¹⁸ Дзюбинская О. *Город сердца моего...* // *Чистопольские страницы. Стихи, рассказы, повести, дневники, письма, воспоминания*. Казань, 1987. С. 166–167.

¹⁹ Соколова. С. 127.

²⁰ Чуковский К., Чуковская Л. *Переписка. 1912–1969*. М., 2003. С. 295. Кроме того, в этом же письме Л. К. жаловалась на условия, связанные с обустройством детей в лагере: “Пока дела идут так... В Берсоте детей не принимают. Обещают взять, когда перевезут тамошних сюда. Но у меня на руках нет документа об уплате денег, и его надо прислать мне возможно скорее. Все, что касается жизни детей в Берсоте, – совершенно законспирировано. Матери, приехавшие сюда с нашим эшеленом, до сих пор не попали к детям и попадут недели через 3. Там кто-то сильно болен, но кто и чем – тайна. Тут всем распоряжается *Косачевская*, особа фантастически грубая (по рассказам матерей). Ходят слухи, что в детском саду там хорошо (у Фани Петровны), а в лагере для старших – худо. На даче холод, и дети без конца болеют гриппом, ангиной, кашляют и т. д. Чистополь и Берсоте – малярийное место. Сюда необходимо прислать хинин и акрихинин”.

Хозяева плохо берут женщин с детьми. Кроме того, хозяева смотрят и на то, как устроены эвакуированные, чтобы воспользоваться их дровами или даже частью пайка. Такие, как Чуковская, были “неперспективны”.

“Комнаты и особенно дрова здесь очень дороги, а зимою будут морозы сорокаградусные, с ветром. Все пытаются раздобыть работу, но ни педагогам, ни литераторам здесь работы не найти; требуются шоферы, вязальщицы снопов и подавальщицы”²¹, – писала Лидия Корнеевна. Для горсовета такой наплыв эвакуированных стал полной неожиданностью.

Получалось, что одни могли работать в музее, на радио или в газете, а другие искали возможность устроиться в столовую. В колхозе, который находился на краю города, собирали турнепс. За эту работу не платили, но кормили гороховым супом.

Забытый драматург Николай Глебович Виноградов-Мамонт, приплывший в Чистополь 6 августа на пароходе, вел подробный дневник, который позволяет восстановить быт эвакуированных в городке до начала 1942 года. Так как детей у них с женой не было, их приезд и поиск жилья несколько отличался от тягот Лидии Чуковской. Виноградов-Мамонт пишет о своих скитаниях:

7 августа <...> по дороге в гостиницу я заходил почти в каждый дом в поисках комнаты. Жалкие лачуги, крохотные комнатки – и все проходные! <...> Зашел я в райком ВКП(б). Зав<едующий> агит<ацией> проп<агандой> Шильников приветливо встретил, обещал дать лекции и позвонить Тверяковой о комнате. <...> На обратном пути мы встретили Б <илля>-Белоцерковского. Он в унынии, ибо безнадежно болен <...>. Вернулись в номер – и вдруг запылало небо от грозных молний. Грозовой раскат – и хлынул дождь... Чистополь нам нравится. Свежий, легкий воздух, напоенный запахами трав, умиротворяющая тишина, синее, суровое небо, красавица Кама, – как это необычно для нас, проживших безвыездно в шумной Москве столько лет. Мы мечтали о природе – и вот она, природа!²²

“Безнадежно больной” драматург Билль-Белоцерковский доживет до 1970-х годов. Его сын Вадим Белоцерковский, попавший в Чистополь подростком, писал в воспоминаниях, что отец был возмущен, как и многие другие писатели, развитием войны, которое грозило полной катастрофой стране.

Жизнь в глухой провинции потрясала своей примитивностью и неустроенностью. Тогда я впервые осознал, что Москва по сравнению с остальной страной – иное государство, неизмеримо более цивилизованное и благополучное. В Чистополе мы попали в XIX век, если не дальше. Старые деревянные осевшие в землю дома царских времен, неасфальтированные грязные улицы, отсутствие машин, водопровода, канализации. За водой мне приходилось ходить с ведрами и коромыслом к колодцу за несколько кварталов от дома в любую погоду, да еще обратно дорога шла в гору, зимой – часто обледенелая. Электрический свет давали только на несколько часов в сутки и с частыми перебоями. Не было и керосина. Освещались самодельными масляными коптилками: баночка или бутылка с грубым растительным маслом (которым каша сдабривалась) и фитиль из веревки. Спичек не было, огонь добывали древним способом: с помощью зазубренной железки – кресала,

²¹ Там же. С. 296.

²² Виноградов-Мамонт Н. [Из дневника \ // Чистопольские страницы. С.107–108.

кремня и трута (жженой тряпки). Чиркали железкой по кремню, искры падали на трут, он начинал тлеть, и его раздували до огня²³.

Вернемся к хронике Виноградова-Мамонта, она позволяет увидеть ту жизнь непосредственно.

8 августа. Пятница <... > Зайдя в горсовет, узнали, что нам предоставляют комнату на Октябрьской ул., 54. Приходим – комната в 4 метра! Но изолированная. Взглянули на хозяев: учитель Афанасьев – коммунист, жена его, мальчик 13 лет и девочка 15 лет. Хозяева понравились... Предгорсовета Тверякова дала мне лошадь, и мы перебрались из гостиницы на новое логово <...>. Хозяева пригласили нас пить чай, то есть воду горячую из самовара. Мы беседовали”²⁴.

Многие были уверены, что до зимы вернутся в Москву. Виноградову-Мамонту очень повезло – его взяли директором в местный музей. В те дни, когда пароход с Цветаевой и Муром приближался к берегам Чистополя, этот странный человек писал в дневнике:

14 августа. Выяснилось, что директора музея нет, – у меня появилось желание получить это место. Боже! Нежели мне придется служить – мне, свободному гражданину, поэту, проводившему свое время за письменным столом <...>.

16 августа. Суббота. <...> В 9 ч. был в РОНО. Познакомили меня с научным сотрудником музея Г. И. Кудрявцевым и назначили директором музея.

Итак, я – музейный работник с окладом в 450 руб. <... > При музее старинная историческая библиотека. Порылся в библиотеке и возрадовался. Есть “История” С.М. Соловьева, Лависс, Рамес – много ценных и важных редкостных книг!

То-то будет раздолье – сидеть и читать²⁵.

10 августа в Парке культуры писатели провели первый вечер встречи эвакуированных с местными жителями, прошел концерт с выступлением разных знаменитостей. Были Асеев, Исаковский, Тренев, мать и сестры Маяковского.

Виноградов-Мамонт вел вечер, а после него повздорил с А. Степановой; он едко пишет о своих впечатлениях от выступлений коллег. “Поэты произвели на меня, как обычно, мелкое впечатление – и мелкими дарованиями, и невежеством. Это поденщина, а не художники. Асеев – выше других. Но нет взлета вдохновения. Он – раб Маяковского, благоговейно служащий своему господину!”²⁶

К середине августа жить в Чистополе уже было практически негде, все было занято. Однако поразительнее всего то, что, когда на город будет наплыв октябрьских беженцев, им каким-то образом найдут место в переполненном Чистополе.

Галина Алперс, жена театрального критика Бориса Алперса, плывшая на том же пароходе, что и Цветаева, писала, что их с матерью на берег выпускать не хотели, но она сказала, что в Чистополе находится ее сестра (так называла она свою подругу) Елену Санникову и они будут жить у нее.

На пристани всех встречал поэт и переводчик Сергей Обрадович. Было это 17 августа.

²³ Белоцерковский В. *Путешествие в будущее и обратно*. М., 2003. С. 48.

²⁴ Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 108.

²⁵ Там же. С. 110.

²⁶ РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 37.

Рассказ Берты Горелик. Чистополь – Берсут

Берте Горелик удалось выйти в Чистополе.

В городе на пристань пришел поэт Обрадович и сказал, что на берег выходят только теща Всеволода Иванова и жены членов Союза писателей.

Я заплакала, ведь я приехала за ребенком. Но все-таки подошла к нему.

– Я на берег выхожу, вероятно, не запрещенный мне берег, я приехала за сыном и дальше никуда не поеду.

Там была моя приятельница, она с мужем уехала раньше. Много писателей стояло. Асеев, писатели с женами. Моя подруга кинулась ко мне, а я говорю:

– Я приехала за Игорьком.

Но мне сказали, что все дети в Берсоте.

– А что это такое? – спросила я.

– Это дачное место.

Она мне объяснила, что здесь живет председатель горсовета, молодая чудесная женщина. Надо к ней зайти. В это время Елизавета Эмильевна, жена Бредедя, кинулась ко мне.

– Я хочу с вами, где вы будете жить?

Я снова ей говорю, что приехала взять сына. Но она уже ко мне привязалась. Тогда я ей сказала, что иду к председательнице.

Зашла, у меня уже полные глаза слез, настроение кошмарное. А она запирает дверь. Я ее спрашиваю: зачем дверь запираете? Она мне отвечает, что у нее забрали последнего врача. В городе – ни одного. Я ей говорю, что все напрасно, я приехала не жить здесь, а забрать своего ребенка.

Она посмотрела на меня, улыбнулась и говорит:

– Ну, тогда я открою глаза. Сколько лет вашему ребенку?

– Четыре года.

– В Москву без пропусков не пускают, а вы ехали 12 дней.

Я ни газет, ничего не видела.

– Матерей, – говорит она, – имеющих детей до семи лет, на фронт не берут, а только используют в тылу, и поэтому вы уехать не можете. Вы мне нужны здесь. Больница без врачей, поликлиника без врачей, самострелы без врачей. В общем, кошмар. Я вас устрою. Не волнуйтесь. Я поняла, что положение серьезное.

Тогда я вспомнила, что Бредедя просила меня за себя, и сказала:

– Вот эта женщина, я ее даже толком не знаю, я с ней познакомилась на пароходе, мне известны передачи ее мужа Вилли Бредедя – антифашиста, а лично я ее не знаю.

– Я вас устрою к одной женщине, – сказала начальница, – она получила похоронку, у нее трое детей.

– Но я не знаю, как я могу здесь остаться, ведь меня военкомат отпустил только на две недели, я же военнообязанная, а здесь госпиталей нет.

– Завтра пойдите в военкомат, встаньте на учет, военкоматы есть везде. Вам паяк дадут, – объясняет мне она.

– Мне не до пайка, ребенка надо увидеть.

Начальница при мне позвонила какой-то женщине.

– Ее надо устроить к Нюре, еще с одной женщиной. У нее ничего нет.

Я с чемоданчиком, сама в носочках, в костюме. Ни вещей, ничего, ни белья, ни теплого пальто. Поехала на две недели за ребенком. Думала, возьму и вернусь. Ну, в общем, я там застряла.

Я работала. Первый больной ко мне поступил – ему лошадь копытом разmozжила лицо. Это было месиво.

На следующий день утром в шесть часов утра помчалась на пристань. В девять зашла во двор, столы с грязной посудой, жара, летают синие мухи, и вдруг из дома выбегает женщина с криком:

– Как вы сюда попали! Инфекцию, заразу принесли.

Я ей спокойно отвечаю:

– Зараза на ваших столах. Посмотрите. Ведь мухи у вас, грязная посуда. Вы на меня не кричите, я врач, я приехала сюда за ребенком.

– Дети еще спят! – кричит она. – Они еще не завтракали. Я сама была как помешанная, хотя и молодая, энергичная, но попала куда-то между войной и ребенком. Мне вывели моего ребенка. Жара была страшная. Он стоял передо мной в пижаме. Из всех вещей у него один костюмчик летний остался. Все разворовали. По его стриженной головке ползали вши. Когда его вывели, он неуверенно меня спросил:

– Мамочка? – Он меня не узнал.

– Сынок, дорогой, – заплакала я.

Он мне говорит:

– Мамочка, ты не уедешь?! Ты меня не оставишь? Ты меня забереешь?

– Да, я тебя заберу.

В течение всего дня, пока я его вечером не уложила, он держал меня за руку.

Я начала работать с первого же дня. Утром обход, больница, потом прием в поликлинике, так как врачей нет. Потом – комиссия по трудфронту, я говорила, что надо было всех писательских жен освобождать, так как они были ни к чему не пригодны, не привыкли без домработниц одеваться, не знали, как вымыться; грязные, неприспособленные. Жили сначала в школе, а вода была на улице. Ходили по чистопольской грязи в туфлях на высоких каблуках. В комиссии фельдшер сказал:

– Вы уже всех подряд освобождаете.

Я отвечаю:

– Да, они ничего не могут с маникюром в полях. Если послать их на трудфронт, то они там заболеют и умрут. Они просто не понимали, куда приехали.

А работать приходилось день и ночь. Самострелы. Острые заболевания, трудфронт, больница. Но потом, через очень короткое время, приехала жена Исаковского, она была терапевт, и сразу стала помогать.

Жили мы у простой женщины Нюры, которая приняла меня и Бредель. Как-то она сказала про Бредельну:

– Она жидовка.

– Да это я жидовка, Нюр, а не она.

– Нет, ты работяга, – говорит она...

Тот человек, которому я зашила лицо, принес мне поросенка. Он ввалился с ним прямо в кабинет, я кричала ужасно:

– Вы с ума сошли! Поросенок! Негигиенично.

И выгнала его.

Пришла вечером домой, Нюра говорит мне:

– Вот поросенок принесли! Это хабар. Ты работаешь как вол.

Меня военкомат снабжал, и я кормила ее семью, детей. Одной восемь, другим десять и двенадцать. Замечательные девочки, работающие, я приносила еду и все, что мне давали.

Сына забирала к себе, кормила. А Бределына брала мальчика, но никогда его не кормила. Она ела, а он смотрел ей в рот:

– Иди, руки мой.

Он моет руки.

А она ему:

– Грязно, поди мой еще.

И все. И не кормит.

Я говорю:

– Почему вы его не кормите, он же бледный, худой. В интернате же воруют, детям мало что достается.

Она мне отвечает:

– Вы русские, у вас всегда беспорядок, а у нас, немцев, – дисциплина. Он пусть там ест, а дома ему не положено.

Я говорю мальчику шепотом:

– Ты приходи, когда мама стоит в очереди за газетами.

Она больше ничего делать не умела, вязала и газеты читала. Первое время я за ней ухаживала, она говорила, что она больна. Ей было сорок лет, и я думала, что она уже старая. Кормила, чтоб ее поддерживать. А потом поняла, что не надо, с какой стати.

Я ей как-то сказала:

– Если антифашисты такие, то какие же фашисты!

Тем, кто был вместе с детьми, повезло больше. С начала июля в Берсоте работала Зинаида Пастернак. Гедда Шор, дочь музыканта Александра Шора, была в старшей группе в детском лагере.

До осени мы жили в Берсоте, – вспоминала она, – замечательно красивом месте на берегу Камы, в санатории с несколькими небольшими корпусами. Одновременно с нами приехали в Берсот жены писателей с маленькими детьми. Я была совершенно ошеломлена, узнав, что среди малышек – четырехлетний Ленечка Пастернак. Таскала его на руках, играла с ним и мечтала, чтобы он достался мне: дело в том, что нас, старших девочек, “прикрепляли” к матерям с малышами в качестве помощниц – нянек. Мечтала я о Ленечке, конечно, втайне, и он мне не достался...

Достались мне братья Ардовы: маленький трогательный Боря и пятилетний большеглазый Миша. Их мать, Нина Антоновна Ольшевская, вскоре полностью завоевала мое сердце²⁷.

Елена Левина, дочь писателя Бориса Левина, вспоминала:

Нас долго расселяли, переводили из палаты в палату, но в конце концов я стала жить с Таней Беленькой, Эрой Росиной и Лялей Маркиш. Таню и Эру я знала давно, еще по пионерлагерю, а вот Ляля приехала из Киева. Она любила рисовать. У Эры в ноябре погибли папа и мама, защищая Москву. Тогда,

²⁷ Шор Г. *Война, семья, эвакуация. Из воспоминаний о Чистополе (1941–1943)* // *Грани*. 1998. № 188. С. 192–193.

летом, этого невозможно было и предвидеть. Ее папа, Самуил Росин, вступил в ополчение, в роту, состоящую из писателей. Он был талантливый еврейский поэт, лирик. Накануне войны написал пророческие строчки: “Умру я в самой гуще боя, оставшись юным навсегда”. А мама повезла продовольствие в ту самую “писательскую роту”, где шли бои, под самую Вязьму. Оттуда они оба уже не вернулись.

В другом большом корпусе находилась столовая, к ней примыкала застекленная терраса. Там стоял рояль, была сцена. Детский сад и мамы с малышами жили отдельно. Девочки двенадцати-тринадцати лет помогали мамашам в основном гулять с детьми, словом, освобождать им руки. Еще девочки чистили картошку для столовой. У мальчиков тоже были свои обязанности: снабжать всех водой, доставать бревна, прибывшие к берегу, и колоть дрова для кухни. Воду привозили в бочках на телеге. Мне поручили нянчить Илюшу Петрова, а также Мишу и Борю Ардовых. Особенно нежно я относилась к Боре, так как его называли в честь моего папы, к тому же он был бледненький и слабенький, а Миша, наоборот, крепкий и загорелый, носил желтую курточку и напоминал итальянского мальчика. Их старший брат по матери Алеша Баталов тоже нам помогал, кроме того, он еще привозил для всех воду, в бочке на лошади. Илюша Петров был светленький карапузик в черных бархатных штанишках. Ему было около двух лет. Обычно Валентина Леонтьевна (его мама) возилась с ним сама или поручала старшему брату Пете. Их отец писатель Евгений Петров, в то время редактор “Огонька”, постоянно выезжал на фронт как военный корреспондент. Мы катали детей на лодке и с кормы полоскали пеленки²⁸.

С годовалой девочкой Таней была Маргарита Алигер:

Мы жили в одной комнате с Ниной Ольшевской, актрисой Театра Красной Армии, женой писателя В. Е. Ардова, близким другом Ахматовой, – в их доме мы и познакомились с нею. Мы жили в одной комнате, Нина с двумя младшими сынишками (старший, Алеша – нынешний актер Алексей Баталов, – жил в лагере) и я с дочкой, и, чем могли, помогали друг другу. Уставали мы за день отчаянно, но вечером, уложив детей и убедившись в том, что они заснули, мы спускались к Каме и, стирая пеленки, читали на память любимые стихи, вспоминали интересные и смешные истории, отдыхали душой, как умели, – это было необходимо, как еда, как сон²⁹.

Маргарита скоро уедет в Москву, это было еще возможно, а ребенка оставит с матерью в Набережных Челнах.

Никто не знает, сколько длиться войне, что кого ждет впереди. И главный, октябрьский исход из столицы еще впереди. На дворе лето. Дети в пионерском лагере, кажется, скоро кошмар закончится и все вернутся в Москву.

²⁸ Левина Е. *От Клязьмы до Камы // Страницки войны. Воспоминания детей писателей / Сост. Н. Громова. М., 2012. С. 114–115.*

²⁹ Алигер М. *В последний раз // Чистопольские страницы. С. 139–140.*

Елабуга. 18–24 августа

В Чистополе на той остановке, о которой шла речь выше, на пароход поднялись женщины, ехавшие в Берсут в детский лагерь. Они уговаривали Цветаеву после Елабуги вернуться в Чистополь, говорили, что там много писателей, что необходимо осесть там и все устроится. Как известно из воспоминаний Л. К. Чуковской, Флора Лейтес, жена критика Лейтеса, которая работала в интернате в Берсоте, обещала похлопотать о прописке и дать Цветаевой телеграмму. Но телеграмму в Елабугу так и не дала, не знала, как ответить Цветаевой об отказе. Итак, 17 августа Цветаева с сыном высадились на берег. Плыли они десять дней, что, конечно же, немало.

Первое, что они увидели в Елабуге, была старая пристань. Длинная, тягостная дорога в город. На холмистых пыльных улицах расплзающиеся старые не то избышки, не то сараи. Заборы – кривые, косые – серее серого. Весь город был похож на одинокую улицу на холме, с тремя соборами, цепочкой купеческих особняков, в которых – горсовет, библиотека, НКВД, Дом культуры. Знала ли Цветаева, что в городе когда-то жил художник Шишкин, кавалерист-девица Дурова?

Над Елабугой, на горе – Чертово городище. Его когда-то поставили на высоком берегу Камы волжские булгары. Сооружение из плоских камней словно перемигивается с тремя соборами, стоящими по другую сторону. По одну сторону – черт, по другую – Бог. Так Цветаева сюда и пришла, увидев то и другое, так и ушла: перед ее недолгим убежищем – домом Бродельщиковых – недалеко Покровский собор. С Покровского бульвара в Москве – к Покровскому собору в Елабуге.

С парохода всех ведут в библиотечный техникум. “Елабуга похожа на сонную, спокойную деревню”³⁰, – замечает Мур в дневнике. Цветаева дает телеграмму в Чистополь Флоре Лейтес.

19 августа Мур записал в дневнике, что хотел бы жить вместе с Сикорскими. Вадим вспоминал, что Марина Ивановна сказала: “Давайте поселимся вместе, пусть мальчики подружатся”. Однако не вышло. Видимо, Цветаева идет в горсовет, где предлагает себя в качестве преподавательницы французского языка. Как писала Лидия Либединская, вспоминая их прогулку с Крученых, накануне войны Цветаева предлагала заниматься с ней французским – пусть и бесплатно.

В этот день они ждут телеграмму от Лейтес. Посылают телеграмму сами. Мур пишет в дневнике, что Асеева в Чистополе нет, он в Казани. Но Асеев в Чистополе. По свидетельству Лидии Чуковской, Флора Лейтес приходит на почту с телеграммой, чтобы написать Цветаевой об отказе Асеева и Тренева в прописке. Чуковская ее отговаривает, ей кажется, что Цветаеву это может убить; приедет и устроится сама.

20 августа. Телеграммы все еще нет. Цветаева идет в горсовет узнать про работу. Сикорская почему-то писала, что Цветаева отказывалась от мысли поступать на службу и не искала работу. Но это не так. Скорее всего, Цветаева делилась своими опасениями относительно того, что на любом месте потребуют документы, заполнения анкеты, что приведет к излишнему интересу к ее особе.

В этот же день Мур пишет, что ей предложили быть переводчицей с немецкого в НКВД. Но это вовсе не означает, что Цветаева ходила в НКВД. Просто в райсовете, горсовете была специальная комната, где сидели люди из органов; это помнят все, кто жил в советские времена. Наверное, когда она рассказывала какому-нибудь мелкому чиновнику, какими языками владеет, ее автоматически направили в такую комнату, откуда и пришел запрос на людей, умеющих изъясняться по-немецки. Несомненно, в этой конторе был необходим человек, владею-

³⁰ Эфрон Г. Т. 1. С. 515.

щий языком, тем более что в Елабуге готовились организовать лагерь военнопленных. Ведь это была не Москва, где переводчика найти очень легко.

Версия о том, что Цветаеву пытались вербовать, кажется сомнительной. Тем более мы знаем из дневников Мура, что Марина Ивановна сама пошла в горсовет в поисках работы, сама рассказывала о знании языков, о возможности их применить. Ее французский в Елабуге был не нужен.

Надо отдать должное Муру, 16-летнему подростку, он тоже ищет работу: обходит библиотеки, канцелярии – любые места, где есть хоть какая-нибудь надежда получить место. “Мне жалко мать, но еще больше жалко себя самого”³¹, – пишет он.

Их багаж все еще на пристани, его перевезут в общежитие, так как комнаты еще нет.

20 августа Вадима Сикорского назначают заведующим клубом, радость от этой должности, отданной 19-летнему юноше, омрачается, когда выясняется, что всех предыдущих заведующих посадили. Наверное, это назначение не обошлось без энергичного участия его матери – Татьяны Сикорской. Она была переводчицей, автором многих советских песен.

Мур надеется, что будет работать с Сикорским в клубе, рисовать плакаты, карикатуры, но выясняется – за это платят гроши. Нина Саконская, еще одна дама, с которой ехали на пароходе, устраивается учительницей пения. Заметим, что для Цветаевой и Мура не видно никаких перспектив.

Как это получается? Приехали вместе, с взрослыми сыновьями, казалось, у всех одни и те же возможности, однако видно, насколько они различны. Если на пароходе в разговорах о возможной работе маячила какая-то надежда, то теперь Цветаева и Мур оказались, по сути, лишенными какого-либо будущего в Елабуге. В эвакуации, особенно ближе к зиме, необходимость быть как-то устроенными, иметь денежный аттестат для каждой семьи было вопросом жизни и смерти.

Сикорская, устроив сына, собирается ехать в Москву к мужу, а затем вернуться в Елабугу. Но тогда ни Цветаевой, ни Мура уже не будет. И Вадим Сикорский, пожалуй, последний из живущих свидетелей, в своих воспоминаниях так и не рассказал, что произошло после смерти Цветаевой. Его записи туманны, основаны на дневниках матери, которая была с Цветаевой в Елабуге только до катастрофы. Главный свидетель тех дней – Н.П. Саконская – умерла в 1951 году, не оставив воспоминаний, но о ней речь еще впереди.

Итак, перспектив нет. На Чистополь делается последняя ставка. Мур язвительно пишет: “Самое ужасное то, что во всем этом есть трагичность, все это отдает мелодрамой, которую я ненавижу”³². Комнаты распределяет горсовет, куда определяют, там и надо жить. Мур отмечает в дневнике, что лучшие комнаты будут отданы семьям и профессорам Ленинградского университета, которые прибывают 21 августа. Интересно, что сюда с университетом придет сын Алексея Толстого Никита Толстой, а затем к нему – в середине января 1942 года – отец его жены, Михаил Лозинский, который всю войну будет переводить в Елабуге “Божественную комедию”.

21 августа Цветаева и ее сын наконец переезжают в комнату, предоставленную горсоветом. Это изба на улице Ворошилова, 10. Им отвели часть горницы, отделенную перегородкой, не достававшей до потолка. За занавеской, так как двери в комнату не было, можно было попасть в пяти-шестиметровый угол с тремя окошками на улицу. В закутке – кровать, кушетка, стул и тумбочка. Фамилия хозяев была Бродельщиковы.

Мура раздражает все: комната, город, улица и уже новые товарищи. Видимо, 22 и 23 августа они заняты с матерью поиском работы, переживанием новых обстоятельств. Они решают,

³¹ Эфрон Г. Т. 1. С. 522.

³² Эфрон Г. Т. 1. С. 524.

что пора ехать в Чистополь, подгоняет еще то, что вещи так и остались на пристани – нераспакованные. Напомним, что долгожданная телеграмма от Лейтес так и не была получена.

Цветаева панически боялась что-либо предпринимать сама – так видно по всем ее решениям: их определяли самые разные люди, которые оказывались в тот момент поблизости. Она сама писала о потере воли. Все, что происходит с ней теперь, можно определить только так.

24 августа. Цветаева отправляется на пароходе в Чистополь вместе с Сикорской, которая едет в Москву. Там же – некая дама из Литфонда по фамилии Струцовская, на советы которой все время ссылается Мур. Куда она девается в Чистополе – неясно. Известно, что Цветаева с собой берет шерсть для продажи. «Настроение у нее, – пишет Мур после ее отъезда, – самоубийственное: «Деньги тают, работы нет»»³³.

В Елабуге со всеми мальчиками остается их попутчица Нина Саконская, детская писательница, мать Саши (Лельки) Соколовского. Эту маленькую красивую женщину грядущая катастрофа заденет непосредственно. Пытаясь узнать о ней поподробнее, я столкнулась с любопытными фактами.

³³ Там же. С. 531.

Рассказ Либединской о Нине Саконской

Нину Саконскую с детства хорошо знала Лидия Либединская, с ней дружила с бакинских времен ее мать поэтесса-футуристка Татьяна Вечорка. В Баку в начале 20-х годов Саконская подружилась с дочерью Вячеслава Иванова – Лидией, обе они занимались музыкой. Там она встретила с Алексеем Крученых. В своих альбомах, где он хранил всевозможные автографы, есть особый альбом Саконской с множеством писем, стихами декадентского склада. Их названия поражают: “Смерть”, “Морг”, “Мертвячки” и т. д.

Между Саконской и Крученых был роман, который то прерывался, то начинался вновь. В 1928 году она кокетливо написала ему: “Буду твоей вечной невестой”. Муж – Соколовский, от которого был сын Саша, – очень быстро исчез из ее жизни. Вот как рассказывала о ней Либединская.

Фамилия ее была Грушман. Это была довольно обеспеченная семья. Саконская посылала свои фотографии в Париж на конкурс красоты и даже получила приз. В Москве жили рядом: мы на Воротниковском, а они – в Колобовском. У нее, кстати, была какая-то детская повесть о скрипачах, где был описан домик, прямо напротив ее дома, там, где церковь. Она поддерживала близкие отношения с композиторами. Когда мы у них бывали, там всегда был композитор Листов, там он играл “В парке Чаир” и “Тачанку”. На ее застольях все было очень элегантно сделано, какие-то тортинки, было очень красиво. В 1942 году, осенью, когда она вернулась из Елабуги, мне было ни до кого, ни до Цветаевой, ни до Саконской. Я ушла к Либединскому, не знала, как быть, где жить...

Я ее встретила на улице, в нашем Дегтярном переулке, я шла с Малой Дмитровки, а она – к себе домой. Она сказала, что была у мамы, только что приехала. Что Цветаева покончила с собой. Но это мы уже знали.

Чистополь Цветаевой 24–28 августа

23 августа Виноградов-Мамонт описывает в дневнике картины чистопольской жизни: “А в городе плач: 2000 мобилизованных отправили из города на фронт. Тяжелая будет зима!”

Все эти дни по городу в грязи по колено тяжело идут толпы плачущих женщин и детей. На этом фоне московская публика, и в частности Ангелина Степанова с писателями, в Доме культуры решили ставить 25 августа “Любовь Яровую” Тренева.

Берта Горелик рассказывала, что к ним стала иногда приезжать Цветаева. Однако у нее мог произойти некоторый сдвиг в памяти. Ей казалось, что Цветаева приезжала несколько раз, а скорее всего, в те дни она несколько раз заходила к Елизавете Бредель.

Приезжала и боялась оставаться ночевать, уезжала последним пароходом. Я уходила, чтоб им не мешать. Они говорили по-немецки, а я ничего не понимала, но не прислушивалась, старалась не мешать им. В один из дней предложила остаться переночевать, места в доме хватало, но Цветаева не осталась. Перед самым отъездом зашла в дом и принесла огромный рулон гарусной шерсти, великолепного цвета, вынула ее и сказала:

– Купите у меня за сто рублей.

Я была поражена.

– Да что вы говорите, сто рублей стоит килограмм картошки на рынке, вы лучше свяжите себе кофту, зима ведь идет.

Я сказала, что могу дать ей сто рублей, только не надо продавать эту шерсть. Но она отказалась, пошла к матери Долматовского, и та купила.

Возможно, из того горестного (гарусного) рулона шерсти была связана хорошая кофточка. В письме к Маргарите Алигер от начала 1942 года из Чистополя Наталья Тренева (Павленко) упоминает о вязании: “И наконец – мы вяжем, да как – запоем, не отрываясь. Софка связала себе две кофточки, чудесные, надо сказать. Я, как более занятая по хозяйству, успела связать только одну. Мы даже в театр пытаемся ходить с вязаньем”³⁴. Софка – это Софья Долматовская, жена поэта Евгения Долматовского.

На улице Цветаева встретила Галину Алперс. Они были знакомы еще по пароходу. Сказала ей и женщинам, стоявшим рядом с ней (одна из них была Санникова), что хочет перебраться в Чистополь, но прописки и работы нет. На что Галина Алперс повторила ей то, в чем потом убеждала и Лидия Чуковская: главное приехать – пропишут. Алперс приводила в пример свой случай. А что касается работы, то женщины как раз обсуждали организацию писательской столовой. Тогда Цветаева и сказала им, что готова работать посудомойкой, это показалось ей выходом из положения. Но столовая откроется только в октябре. Итак, та встреча на улице закончится тем, что Цветаева уйдет с Еленой Санниковой. О том, как переплетется судьба этих двух женщин, речь впереди, но самоубийство Санниковой через два месяца молва отнесет к той встрече, к отражению в ее судьбе гибели Цветаевой. Подруга Санниковой Галина Алперс написала, что они ушли с Цветаевой в боковую улицу, взявшись за руки.

Есть еще одно любопытное свидетельство. Оно принадлежит Наталье Соколовой (Типот) в письме к Марии Белкиной, которое она послала ей после выхода книги “Скрещение судеб”. Она рассказывает, что в первые месяцы эвакуации оказалась со своим маленьким сыном, заболевшим дизентерией, в чистопольской больнице. А ее мать жила в одной комнате с Жанной Гаузнер (дочерью Веры Инбер). Именно у них Цветаева провела одну из тех августовских

³⁴ См. письмо Натальи Трениной к Маргарите Алигер в приложении.

ночей. Спустя годы Жанна Гаузнер, обсуждая с Натальей Соколовой те дни, вспоминала о Цветаевой: “Она плохо понимала реальную жизнь. Хотела работать на кухне, и это казалось ей нетребовательностью, величайшим смирением”³⁵.

Значит, все-таки выходит, что ночь, проведенная в доме матери Н. Соколовой и Ж. Гаузнер, была после того уличного разговора о столовой для писателей.

– Ты же помнишь войну? – говорила Гаузнер Наталье Соколовой. – Все были голодны, все хотели работать на кухне, поближе к пище, горячей пище, кипящему котлу. Изысканный поэт Валентин Парнах, полжизни проведенный в Париже, сидел при входе в столовую (не то интернатскую, не то общую писательскую), не пускал прорывающихся местных ребяташек, следил, чтобы приходящие не таскали ложек и стаканов, – и был счастлив, что так хорошо устроился. Зина Пастернак была сестрой-хозяйкой детсада, работала день и ночь, львиную долю полагающейся ей еды относил Пастернаку. Ну, как было объяснить Цветаевой, что место посудомойки на кухне важнее и завиднее, чем место поэта?

И еще Гаузнер вспоминала, что, когда Цветаева ночевала у них, она все повторяла: “Если меня не будет, они о Муре позаботятся”. Это было вроде навязчивой идеи. “Должны позаботиться, не могут не позаботиться”. “Мур без меня будет пристроен”³⁶.

Меньше всего Цветаевой был свойственен прагматический подход; мысль о том, чтобы оказаться рядом с кухней и оттуда что-то выносить, вряд ли приходила ей в голову. Место посудомойки было самым ничтожным по ее представлениям, и она была готова на него.

Какой бы унижительной ни казалась нам сегодня та записка, которую Цветаева написала о желании быть посудомойкой, но реальность была еще ужасней. Не так-то просто было получить и это место. Устроиться так, чтобы быть поближе к еде, хотелось многим. Может быть, кто-то объяснил Цветаевой, что и здесь перспективы нет?

Известно, что в Чистополе Цветаева переночевала у Валерии Владимировны Навашиной, жены Паустовского, о чем написано в воспоминаниях Л. К. Чуковской, которая утверждала, что ночевала она у Навашиной в общежитии. Однако у Паустовского в 20-х числах августа уже была комната, которая соседствовала с Асеевской. Это подтверждается в письме критика А. Дермана к И. Новикову, который поселился в ней после отъезда Паустовского в Алма-Ату:

Мы в Чистополе с 3 августа. Довольно много времени в усилиях устроиться, долго прожили в общежитии и т. д. А потом вдруг повезло. Паустовский с семьей решил уехать в Алма-Ату, и ко мне перешла принадлежавшая ему комната, отличная, необыкновенная, теплая, в центре. Сосед мой по комнате – Асеев с женой и бельсэрами. Был здесь обильный и дешевый рынок, сейчас – скудный и дорогой³⁷.

Таким образом, получается, что Цветаева, ночуя в комнате Паустовских в те дни, не могла не общаться с Асеевым и сестрами его жены Оксаны. Этим, по всей видимости, объясняется перемена в поведении поэта.

Асеев вместе с Треневым сначала, как мы помним, не подписали Флоре Лейтес, которая пыталась вызвать Цветаеву из Елабуги, разрешение на ее прописку. А когда лично встретился с ней, то дал разрешение, но не устное, а письменное. На собрание Асеев не пошел, но прислал записку с согласием о прописке Цветаевой. Тренев полностью остался при своем.

³⁵ См. письмо Натальи Соколовой к Марии Белкиной в приложении.

³⁶ Там же.

³⁷ РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 4. Ед. хр. 628.

В письмах А. Н. Зенкевич к мужу говорится, что 10 августа в Чистополь в военной форме прибыл К. Г. Паустовский. Несколько месяцев войны он был в Одессе, пытаясь организовать фронтовую газету, затем вернулся в Москву, где в самом начале августа обнаружил (как уже говорилось выше) свой подъезд в Лаврушенском переулке разбомбленным и, пожив немного на даче у Федина, приехал к семье в Чистополь. Он не мог не встретить Цветаеву, хотя бы потому, что вошел в Совет по делам эвакуированных. Но почему он ничего об этом не писал? И когда Цветаева ночевала у Навашинной, где был Паустовский?³⁸

Ксения Синякова, комнаты которой соседствовали с навашинскими, говорила потом Белкиной, что Цветаева приходила к ним в Чистополе и что они ее принимали. Ксения подчеркивала: хорошо принимали. Может быть, это общение и подтолкнуло Цветаеву завещать сына Асееву и сестрам Синяковым.

Паустовский, как выясняется, не успел узнать о судьбе Цветаевой и ее сына. Он покинул город, когда весть о самоубийстве еще не долетела до Чистополя. А свою комнату Паустовский и Навашина передали близкому другу – “старика” Дерману, с которым писатель дружил в еще довоенной Ялте. Так он и оказался рядом с Асеевым. Но вернемся к странствиям Цветаевой по Чистополю.

Лидия Чуковская писала, что встретила Цветаеву 26 августа. В тот день проходило собрание в парткоме, решавшее ее судьбу. Лидия Корнеевна была совершенно уверена, что Марина Ивановна пропишется в городе.

Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла, – писала она в очерке “Предсмертие”. – <...> Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала никогда ни единой³⁹.

С Чуковской Цветаева сидела в коридоре и ожидала, пока закончится партийное собрание, где решалась ее судьба. Из кабинета вышла Вера Смирнова (тогда она была парторгом

³⁸ В моей переписке с Ирмой Кудровой (автором биографии М. Цветаевой) я подтвердила свои сведения о пребывании Паустовского в Чистополе. В ответ она выслала мне отрывок из дневника Л. Левицкого (секретаря Паустовского), который я привожу: “...Она (Ирма Кудрова. – Н. Г.) считает, что я выдумываю, говоря, что Паустовский участвовал в чистопольском заседании, на котором решалась судьба Цветаевой. Но я никогда не утверждал, что Паустовский там присутствовал. Я ограничивался констатацией того, что К. Г. мне рассказывал об этом заседании и ругательски ругал председательствовавшего на нем Тренева. Тогда, когда шел этот разговор, мне в голову не пришло осведомиться у него, рассказывает ли он то, чему был свидетелем, или передает это с чужих слов. Вера Васильевна Смирнова в ноябре шестьдесят второго поделилась со мной, что у нее хранится записка Марины Ивановны, в которой та просит устроить ее работать в столовой судомойкой, и заодно рассказала, что лучше всех в защиту Цветаевой выступил Паустовский. С другой стороны, почти все в один голос говорят, что, когда решалась участь Марины Ивановны, К. Г. в Чистополе еще не было”. Однако теперь можно достоверно утверждать, что Паустовский приехал 10 августа, а выехал из Чистополя 1 или 2 августа. Дата приезда Паустовского есть и в письме жены Зенкевича 20 августа в письме Л. К. Чуковской к отцу от 21 августа, где говорится о приезде в Чистополь Квитко и Паустовского (К. Чуковский, Л. Чуковская. *Переписка: 1912–1969*. М., 2003. С. 302). Вторая дата находится по той же переписке Л. К. Чуковской с отцом (это письмо от 4 сентября 1941 года) на странице 306, здесь все вместе – и отъезд Паустовского, и гибель Цветаевой. “Паустовские, – пишет Л. К., – уехали в Алма-Ату, Шнейдеры – тоже <...>. Сегодня 4.9. в Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повесилась”. Эти сведения, несомненно, привез в Чистополь Мур. Но Паустовские точно уехали до этого, письмо длинное и пишется частями.

³⁹ Чуковская Л. *Предсмертие // Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Т. 3. Возвращение на родину*. М., 2002. С. 180–181.

писательской организации Чистополя) и сказала, что ей нечего волноваться, судьба ее решена, она может прописываться. Против был один Тренев, все остальные согласны. С Чуковской они пошли в гости к Татьяне Арбузовой и Михаилу Шнейдеру⁴⁰, где та читала стихи, хотела вернуться к ним вечером, переночевать, но так и не пришла.

Как выяснилось сейчас, она была и у еврейского писателя Нояха Лурье⁴¹, с которым приятельствовала в 1940 году в Голицыне. В письме из Израиля его внука Юлия Винер, которой тогда было шесть лет, пишет:

Цветаеву я в Чистополе видела, это правда, и именно у моего дедушки Нояха Лурье (я была в литфондовском детдоме, а он приехал позже и жил в какой-то лачуге в самом Чистополе), но никакого зрительного образа не сохранилось, я и понятия не имела, кто это, осталось только общее ощущение ужасной неприкаянности и несчастья, а я, сама в то время несчастная и неприкаянная, очень сильно это воспринимала. И потому эта женщина была мне неприятна, и хотелось, чтобы поскорей ушла. Может быть, я даже что-нибудь в этом роде ей и сказала⁴².

Это выяснилось вскользь, почти случайно, сам Ноях Лурье не оставил воспоминаний о той встрече, может быть, из-за ее мимолетности.

Виноградов-Мамонт записывает в дневнике 27 августа, в последний день, когда Цветаева находилась в Чистополе.

Шел в 11 ч. в музей, а дорогу мне пересекла страшная процессия: 800 мобилизованных (35–42 лет), бородатых, изнуренных колхозников с мешками за спинами шагали к пристани. Кое-кто из них на руках нес детей. А вокруг каждого мобилизованного бойца воют бабы и по 5–6 ребятишек, <... > рядом жена заливается горькими слезами, детишки прижимаются к отцу, быть может, в последний раз⁴³.

Эту картину не могла не видеть Цветаева. В 1920-е годы она с лихвой приняла все, что только можно, – голод, смерть ребенка, холод, страх, отчаяние. Принять в себя снова эту горечь – видимо, было не по силам.

Вот и на пристани, где встретила Лизу Лойтер, пианистку, жену поэта Ильи Френкеля, попросила ее купить билет на пароход. Было много пьяных, она боялась их. Можно только представить, как пили мужики, уходя на фронт. Не случайна фраза из предсмертного письма Цветаевой о судьбе сына: “Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного”.

И еще. После выхода книги о Чистополе пришло письмо из Израиля от дочки Елизаветы Лойтер М. И. Ковальской; рассказывая о своей маме, она делает уточнение к рассказу о встрече

⁴⁰ Татьяна Алексеевна Арбузова, бывшая жена драматурга Арбузова, в будущем жена Паустовского. Из интервью ее дочери Галины: “Мама вышла во второй раз замуж за блистательного человека, Михаила Яковлевича Шнейдера. В Москве тогда были две литературно-философские школы. Во главе одной из них стоял Шкловский, а во главе второй – Шнейдер, сейчас совершенно забытый. Он был сценаристом, но, главное, написал книгу «Наедине с дураком», которую тогда, конечно, нельзя было напечатать. Она так и не была издана, затерялась, но те, кто ее читал, говорят, что это была выдающаяся вещь. Началась война. Мы все попали в Чистополь, откуда было трудно выбраться, и именно Паустовский взял нашу семью с собой в Алма-Ату, в эвакуацию. Именно там, в 43-м году, Константин Георгиевич признался маме в любви”. (“Огонек”. 2001. № ю). Судя по письму Л. Чуковской к отцу от 4 сентября 1941 года, Паустовский с женой и Арбузова со Шнейдером уехали еще в начале сентября. О Шнейдерах см. также очерк Лидии Чуковской “Предсмертие”. (*Марина Цветаева в воспоминаниях современников*. Т. 3. С. 194–195.)

⁴¹ См. о нем: Белкина М. *Скрещение судеб*. С. 190–193; а также в воспоминаниях Льва Славина *Портреты и записки*. М., 1965. С. 101–104.

⁴² Личный архив автора.

⁴³ Виноградов-Мамонт Н. [*Из дневника*]. С. 112.

с Цветаевой. “Когда мама встретила с Цветаевой, она везла в Казань к главному врачу Юру Барта, у которого был поражен глаз, который, насколько помню, не удалось врачам спасти.

Я запомнила из рассказа мамы только то, что М. И. обратилась к ней с просьбой купить билет до Елабуги. Она была, по словам мамы, страшно измучена и голодна. А у мамы из еды был только арбуз, который они втроем и съели на пристани. Содержание их разговора я не помню, или мама не передала мне его”.

Без меня Мур будет пристроен... 28–31 августа

Возвращение в Елабугу было тяжелым. Опять спорили с Муром, искали возможный выход. 29 августа решили брать подводу и ехать на пристань. Мур собирался выписаться из военкомата. 30 августа все изменилось. Точно так же было в Москве: казалось бы, они все определили, решили, и вдруг все рушилось в последний момент.

Вчера к вечеру мать еще решила ехать на завтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н. П. Саконская и некая Ржановская, которые ей посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в 2 км отсюда – там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась за эту перспективу, тем более что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно найти только на окраинах, на отвратительных, грязных, далеких от центра улицах. Потом Ржановская и Саконская сказали, что “ils ne laisseront pas tomber”⁴⁴ мать, что они организуют среди писателей уроки французского языка и т. д. По правде сказать, я им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, работа в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна быть очень грязная работа. Мать – как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на все и предоставил полностью матери право veto и т. д. Пусть разбирается сама⁴⁵.

Можно только представить, что устроил ей Мур, когда они остались одни. Но он тоже на что-то рассчитывал. 31 августа – последний день каникул, он хотел идти в школу в Чистополе – это был его главный аргумент.

В последний день Цветаева была у Саконской. Либединская вспоминает, что уютный уголок, который та сумела создать в чужом доме в Елабуге, нравился Цветаевой; в закутке висело бакинское сюзане, которое та привезла с собой.

Вышитое на сатине, тогда это модно было, надо было как-то стены прикрывать. Это сюзане было большое, как ковер. На Востоке всегда оставляют несделанный завиток, потому что кончается работа – кончается жизнь. Поэтому на всех ручных коврах есть такой завиток. Саконская рассказывала, что Цветаевой оно очень нравилось. Оно спускалось со стенки и накрывало пружинный матрац, а рядом стояла настольная лампа, которую Саконская тоже привезла с собой из Москвы. Цветаева любила садиться в свете лампы на фоне сюзане. Саконская так и запомнила ее в предпоследний вечер. И еще она сказала, что отговаривала ее уезжать.

Напомним еще раз: Саконская умерла в 1951 году. Ариадна Эфрон разыскала Татьяну Сикорскую, но о попытках списаться с Саконской ничего не известно.

Дневники Мура расширили возможность узнать о тех, кто был в те дни рядом с Цветаевой. Была некая Ржановская, еще семья Загорских. Кое-что о них удалось узнать. Все-таки какие-никакие, но рядом были писатели, кроме того, с Саконской у Цветаевой было множество

⁴⁴ “они не бросят” (франц.).

⁴⁵ Эфрон Г. Т. I. С. 538–539.

прежних общих знакомых. Ждали вот-вот сотрудников Ленинградского университета, может быть, их и имели в виду Саконская и Ржановская, когда говорили о преподавании среди писателей французского языка.

И еще. Собрано много рассказов елабужцев о том, что они встречали, разговаривали, общались с несчастной женщиной; в воспоминаниях многие полагают, что это была Цветаева. Однако вполне возможно, что они спустя годы, припоминая те дни, любую растерянную эвакуированную женщину ретроспективно могли счесть Цветаевой.

Писатели в этом смысле более надежный народ хотя бы потому, что они пусть отдаленно, но представляли, что она за поэт, или слышали о ней в Москве, как, например, Берта Горелик.

Валентина Марковна Ржановская жила на Тойминской улице, в доме №1, ее муж Евгений Семенович Юнга (Михейкин) был писателем и военным журналистом, работал в газете “Фронт-товик”. А Михаил Борисович Загорский был в 1930-е годы известным театральным критиком, его материалы, освещавшие театральную жизнь, в том числе и еврейских театров ГОСЕТ, “Габима” и других, часто появлялись в печати. Беда в том, что Загорский умер все в том же 1951 году, когда до признания Цветаевой оставались считанные годы.

31 августа

Итак, судя по предсмертной записке, Цветаева была абсолютно уверена, что сын в Елабуге не останется, а уедет в Чистополь. И как ей представлялось накануне, один он сможет устроиться лучше, чем с ней. Видимо, и на нее действовала советская идеология, представление о том, что заботу о сироте государство возьмет на себя. Как это ни печально, но скорее всего такая возможность, пусть в запале, пусть в ссоре, накануне могла ими обсуждаться. Мур пишет в дневнике, что последние дни мать просила освободить ее, говорила о самоубийстве. И главное, на что хотелось бы обратить внимание. Много говорилось о предсмертной записке родным, записке Асееву, но записка писателям, на мой взгляд, не до конца осмыслена.

<ПИСАТЕЛЯМ> Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом – сложить и довести в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. *Со мною он пропадет.* Адр<ес> Асеева на конверте.

Не похороните живой! Хорошенько проверьте.

Цветаева пишет именно елабужским писателям, а не чистопольским. Просит их позаботиться о мальчике, посадить его на пароход. Кроме того, она просит себя похоронить. Судя по всему, они выполнили просьбу Цветаевой, но мы знаем об этом ничтожно мало.

Почему хотела отправить Мура к Асееву? Все-таки нельзя отказаться от мысли, что такое доверие к нему и сестрам Синяковым могло возникнуть в последнюю поездку в Чистополь, при более короткой встрече с поэтом, о которой нам ничего не известно.

Итак, два самых близких человека, мать и сын, были истерзаны обстоятельствами, истерзаны друг другом. Вместо поддержки они мучили и боролись друг с другом. Оттого, наверное, и прозвучали слова Мура, так поразившие окружающих. О том, что Марина Ивановна поступила правильно. Но уже отмечалось неоднократно, что жалость, боль, сочувствие к матери пришло позже, в Ташкенте, когда мера одиночества и даже одичания Мура превысила все возможные пределы. Вот тогда он и напишет в письме о ее страдании накануне гибели.

О самоубийстве уже написано много. О том, как в тот день Цветаева осталась одна, как ее нашли. Дневник Мура так и не прояснил, кто ее нашел, кто вынул из петли, это уже стало областью мифов; как проходили похороны, где оказалась могила. Но зато появилось много косвенных свидетельств. Сопоставив их с прежними, можно увидеть нечто новое. Еще раз попробуем разобраться в людях, которые окружали Мура в тот день. Ведь не к мальчикам обращала она свое письмо о помощи Муру.

Вадим Сикорский, цитируя свои записи, говорит, что 31 августа он сидел в кинотеатре и смотрел фильм “Троза”, и после вопля Катерины и молний на экране вдруг раздался женский крик: “Сикорский!” Сикорский пишет: “Я бросился к выходу. Жена писателя Загорского сообщила: «Марина Ивановна повесилась. Хозяин вернулся домой и наткнулся...»”⁴⁶

Мур, который боялся войти в дом, увидеть покойницу, ушел ночевать к Сикорскому. Весь последующий день он был в милиции, откуда забрал записки матери, в больнице, где взял свидетельство о смерти, в загсе, где взял разрешение на похороны. Когда он пишет, что Марина Ивановна была “в полном здравии в момент самоубийства”, то скорее всего имеет

⁴⁶ Сикорский В. “...Не моя златоглавая”. Незабываемое о Марине Цветаевой // Марина Цветаева в воспоминаниях... Т. 3. С. 215.

в виду результаты медицинского освидетельствования, которые были указаны в справке из больницы.

Через день – 2 сентября – ее хоронили. “Долго ждали лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета на кладбище”⁴⁷. Скорее всего, ее хоронили Мур, Саконская с сыном, Сикорский, Ржановская, супруги Загорские...

В поисках Загорского я стала смотреть в РГАЛИ по указателю его переписку военного времени. Обнаружилось одно письмо от мая 1942 года писателю В. Г. Лидину. Поразило, что Ржановская тоже пишет В. Г. Лидину в начале 1942 года. Возникла надежда: вдруг они что-то напишут ему о Цветаевой, хотя бы не напрямую, намеками. Оказалось, все значительно проще. М. Загорский писал Лидину как знаменитому книголюбу о том, что до него дошли сведения, что в его квартире на Малой Бронной прорвало батареи и там могла погибнуть ценная коллекция книг XVIII века по театру и литературе, а также коллекция гравюр. Письмо Ржановской было приложено к письмам мужа, который находился на фронте и через Елабугу посылал в Москву свои очерки.

Однако есть другие странные следы тех дней. После долгих разысканий я вдруг осознала, что почти наверняка никто не станет рассказывать, как все было в Елабуге, а если кто и рассказывал, то это еще хранится на дне семейных архивов. Об этом много говорили, но писали мимоходом.

Итак, в 1942 году М. Загорский, взволнованный гибелью в Москве своей коллекции, умоляет Фадеева вызвать его хотя бы в командировку. Напомним, что выехать из эвакуации было гораздо тяжелее, чем отправиться туда. “Если Вы будете медлить, – обращается он к Фадееву, – то в Елабуге погибнет третий из членов писателей, погибнет зря...”⁴⁸ Интересно, что Загорский считал Цветаеву членом Союза писателей. Что же касается еще одной смерти в Елабуге, то об этом еще будет рассказано. Мария Гонта, сценаристка и переводчица, приехавшая в Елабугу уже после смерти Цветаевой, умоляя Фадеева вызволить ее, пишет:

Здесь люди живут весом и ценой дыма, пролитой воды, тряпки, микроскопическими, молекулярными интересами, достойными каких-то одноклеточных, если бы природа не позволила себе шутку – дать им слово. Здесь легко умереть, как умерла Цветаева⁴⁹.

По этим письмам видно, что смерть Цветаевой стала в каком-то смысле разменной монетой для тех писателей, что застряли в эвакуации. Но так это видится только на внешнем уровне; если заглянуть глубже, то понимаешь, что Цветаева вдруг воплотила для них обездоленность и затравленность маленького советского писателя, забытого государством. И хотя ее судьба являла полную противоположность такой мысли, всем было важно другое – написать, сказать, выкрикнуть: посмотрите, до чего нас довели! Такое прочтение ее гибели теми, кто находился рядом, честно говоря, меня поразило. Однако если вспомнить, как десяток лет кормили, пестовали, хотя и сажали, но и награждали советских писателей (больших и маленьких), невольно поймешь их почти детскую обиду на государство. А воплощал его в те годы Александр Фадеев, который и получал эти жалобы и стенания.

Итак, уезжая в Чистополь, Мур писал, что простился с Загорскими, Сикорским и Лелькой (Соколовским).

⁴⁷ Эфрон Г. Т. 2. С. 8.

⁴⁸ РГАЛИ. Ф. 636. Оп. 15. Ед. хр. 759 (1).

⁴⁹ РГАЛИ. Ф. 636. Оп. 15. Ед. хр. 488 (2).

Разговор с Вадимом Сикорским

Конечно, хотелось расспросить фактически единственного оставшегося свидетеля тех дней – Вадима Сикорского, однако, судя по его собственным воспоминаниям, трудно было надеяться на что-то новое. Но случай вскоре представился сам. Он позвонил Марии Белкиной, чтобы обсудить с ней дневники Мура; она попросила разрешения мне поговорить с ним. Он был доброжелателен, но вопросы принимал в штыки, говоря, что давно уже все рассказал.

Мур был замкнутым, молчун. Я вообще не знал, что он такой. Я был потрясен, когда прочел его дневники. Я не представлял, что он такой... умный, все понимает. Он никогда ничего не говорил, не обсуждал.

А Цветаева... она мне казалась ужасно старой, все время сидела и вязала. Я даже не представлял, что она такой поэт. Она мне читала свою поэму “Царь-девица”. Мне ужасно не понравилось. Узнал ее как поэта только спустя 8 лет. И был буквально потрясен. Елабуга была страшная. Там были не писатели, а какая-то мелочь. Я их и не читал никогда. Там был страшный быт. Мы выживали. И в этом нет ничего интересного. Мур ко мне пришел на одну ночь.

Я: Вы ее хоронили?

Он: Почему вы спрашиваете? (*После паузы.*). Можете считать, что меня там не было. Всем нужно про место на кладбище, всем, а зачем оно? Я как в дыму был. Пил тогда очень. Я: В дневниках Мура написано, будто бы Цветаева хотела, чтобы вы жили вместе. Хотела, чтоб мальчики дружили.

Он: (*Смеется.*) Мама боялась влияния Мура на меня. Хотя чем он мог на меня влиять? Только высокомерным своим видом и молчанием. Они оба меня раздражали, честно скажу. Особенно когда в моем присутствии говорили по-французски. Мне казалось, что это ужасно неприлично. Культурные люди, а пользуются тем, что я не понимаю... В ту ночь прибежал ко мне, весь трясся...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.